

ДЕЙСТВУЮЩИЕ
ЛИЦА

ЧЕРЕЗ СТО ЛЕТ
В БЕРЕЗОВОЙ РОЩЕ

Драматическая
поэма
в двух частях

Князь Петр Олениский, 20 лет.

Михаил Сергеевич Горин — подполковник лейб-гвардии гусарского полка, 43 лет.

Кондратий Федорович Рылеев, 30 лет.

Антон — крепостной Оленских, 20 лет.

Елизавета Николаевна (Элиз) Черемисова, 25 лет.

Подпоручик Яков Ростовцев, 20 лет.

Николай Первый, 29 лет.

Михаил Михайлович Сперанский — профессор, член Государственного совета и следственной комиссии, 53 лет.

Иван Грозный.

Борис Годунов.

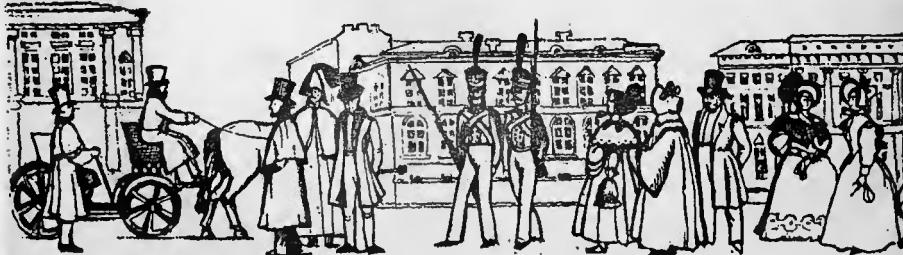
Петр Первый.

Скоморох.

Старуха.

Николай Васильевич Гоголь.

Скоморохи, жандармы, монашенки.



ЧАСТЬ
ПЕРВАЯ

Когда эта пьеса возникла в воображении, то сначала возникли свечи, а потом уже лица. Свечи были разные — от огарка в старинном поставце до свечей-символов, свечей-гигантов. Свечи загорались и освещали людей. Видимо, это должно быть перенесено и на сцену.

Появляются три молодых человека и девушка. Это — наши современники, которым предстоит в пьесе прожить четыре чужих жизни, стать обитателями иного времени.

Впоследствии они будут зваться: Михаил Сергеевич Горин, князь Петр Оленский, Антон — крепостной Оленских, Елизавета Николаевна (Элиз) Черемисова. Но пока они наши современники.

Первый молодой человек. Эпиграфы. Юрий Тынянов сказал: «Есть документы парадные, и они врут, как люди».

Второй молодой человек. «По пути к исторической справке, ища ее, непременно патолкнешься на окно, на улицу, на мысль гораздо более важную, чем вся эта справка». Юрий Тынянов.

Третий молодой человек. И еще из Юрия Тынянова: «Представление о том, что вся жизнь документирована, ци на чем не основано... Если вы вошли в жизнь вашего героя, вашего человека, вы можете иногда о многом догадаться сами».

Девушка. Записка от автора: «В декабре тысяча девятьсот сорок третьего года я хоронил писателя Юрия Тынянова. Гроб с телом привезли к нам в Литературный институт. Народу собралось немного».

Он писал о декабристе Кюхельбекере, он сам умер в декабре, он был декабрист.

Я стоял в изножии гроба в почетном карауле спиной к окну и смотрел в пергаментное лицо, напоминавшее род Ганибальов.

И вдруг я почувствовал: за окном что-то изменилось. Не стало дворика московского дома Герцена, там была теперь санкт-петербургская малая речка Мойка и торец, выбитый бешеными коштами императорских лошадей. Я хоронил Пушкина. Тогда я попял, что существует Мост Времени. Если опереться о парапет Моста Времени — четырнадцатое декабря тысяча восемьсот двадцать пятого года станет сегодняшним числом.

Если опереться о парапет Моста Времени — рука, поднявшая тяжелый морозный пистолет на Сенатской площади, станет одной из наших рук.

Если опереться о парапет Моста Времени — глаза, которые увидели, как вылетел из седла граф Милорадович, станут нашими глазами.

Мы должны прожить жизнь прадедов и отцов, чтобы их мысли возникали в наших умах как открытие, а не как ответ на экзаменах.

Тогда мы поймем себя».

Первый молодой человек. Правда — это ток высокого напряжения. На правде следовало бы написать: «Смертельной!» И все равно к ней тянулись бы миллионы рук. Тогда говорили: ток крови. Ток крови декабристов был током высокого напряжения. Но освещались по током, а свечами. (Берег в руки маленькую свечу в старинном поставце. Свеча сама по себе тихо загорается, освещая его лицо.)

Все, кроме него, покидают сцену.

Если вы вошли в жизнь вашего героя, вашего человека, вы можете иногда о многом догадаться сами. Истина воображения! Что может быть достовернее? Я чувствую, как в моем лице проступают черты другого человека. За моими плечами сорок три года его жизни, Аустерлиц, Прейсиш-Эйлау, Кульм, Бородино. Это я высекал саблей искры из сабель на-

полеоповских конногвардейцев. Еще не села букинистическая пыль на читанные мною вчера первые отиски пушкинских «Цыган». Я знаю: того следа, что оставил в истории подполковник лейб-гвардии гусарского полка Михаил Сергеевич Горин,— того следа уже нет. Теперь я должен буду заново оставить его — шаг за шагом, слово за словом, поступок за поступком.

Свечи в его руках медленно, как бы задумчиво, гаснет. И тут же вспыхивают свечи в одном из концов сцены. Они освещают члена Государственного совета Михаила Михайловича Сперанского и великого князя Николая Павловича. Оба — при параде, с лентами через плечо.

Сперанский. Ваше высочество! Эта вариация манифеста о нашем восшествии читана в Государственном совете и одобрена им.

Николай. Кто выправлял манифест?

Сперанский. Князь Голицын и я. Кое-что из строк, писанных Карамзиным, пришлось вымарать, дабы все стало проще и понятливее.

Николай. Этой ты мастер пускать шпильки под Карамзина! Дай-ка... (Берет манифест, углубляется в чтение.)

В другом конце сцены, в свечном свете, возникают Рылеев — в халате, с обмотанным горлом, подле разобранной постели — и подполковник Горин.

Рылеев. Проходи, Миша. Ты — первый.

Горин. Не разбудил ли?

Рылеев. Спасибо, что разбудил: опять во спне, словно веревкой, шею стянуло. Не в руку ли сон?

Горин. Эк тебя угораздило с твоей лихорадкой, Рылеюшка!

Рылеев. Бог с ней! Тебе удалось говорить со Сперанским?

Горин. Да. Перехватил его по дороге из Государственного сове-

та в покой Николая Павловича. Нес его высочеству манифест о восшествии.

Рылеев. Что он?

Горин. Он? Ничего! Коли подпишет манифест — государь до восьми утра.

Рылеев. Не шути, я о Сперанском. Каков разговор был?

Горин. Михаил Михайлович Сперанский! Мне поручено говорить с вами...

Сперанский (*в другом конце сцены, как бы вспоминая недавний разговор с Гориным, пока Николай углублен в чтение манифеста*). От кого поручение, подполковник?

Горин. От ее величества Свободы Российской.

Сперанский. Странное поручение от несуществующего величества.

Горин. Воистину так, Михаил Михайлович. Но ей в нынешнем междударствии и взойти бы на трон.

Сперанский. Вопрос с трагическим междударствием сегодня же разрешится: великий князь Николай подпишет манифест и станет императором.

Горин. Но гвардия уже принесла присягу императору Константину!

Сперанский. Гвардии придется заново присягнуть его величеству Николаю Первому. Не вижу в том затруднительств.

Горин. Михаил Михайлович, как старому товарищу по масонству позвольте вам навязать минутную игру в «если бы». Итак, если бы гвардия отказалась от переприсяги, если бы нашлись люди, помыслы которых об ограничении самодержавной власти в России стали делом, если бы эти люди предложили вам, просветителю нашему, войти во временное правление государством еще с двумя благородными людьми, дабы конституция из проектов стала законом, если бы...

Сперанский (*перебивает*). Если бы прожектерский разговор сей происходил не перед покоями будущего императора, он бы был бы интересен и приличен.

Горин. Вы представить себе не можете, сколь важен наш разговор сегодня.

Сперанский. Тем более, подполковник, считайте, что никакого разговора промеж нас и не было. Не могу поверить, что слушок об тайных обществах, от которого, словно от дыма,

угорают пынче во всех углах, оказался явью. И вам не рекомендую верить подобному.

Горин. Дыма-то не случается без огня, Михал Михалыч.

Сперанский. Огонь тот всякие Рнеги за Препеями разжигают, а хмельной дым к нам относит. От такого хмеля люди безголовыми падают. Не надобно нам безголовых сограждан...

Николай (читает вслух заключительные строки манифеста). «Да будет царствование наше токмо продолжением царствования Александрова, и да исполнится все, что для блага России желал тот, коего священная память будет питать в нас и ревность, и надежду стяжать благословение божие и любовь народов наших». (Отложив манифест, отходит, задумавшись, в глубь сцены.)

Сперанский (как бы продолжая вспоминать разговор с Гориным). Может статься, Михал Сергеич, что мы прожектерский разговор наш продолжим. При других обстоятельствах, разумеется. Одно могу сказать: Свобода, Равенство, Братство — возлюбленные мною музы и демократический образ мышления мне дорог. Я и покойного государя призывал к мягкости в правлении Россией. Но я не воли, сударь мой!

Горин. Никто не требует, Михал Михалыч, чтоб вы перо просветителя сменили на карбонарский меч. Воины в сем деле найдутся. Но я рад, что промеж нас случилось совпадение мыслей и патриотических чувств...

Рылеев. Побоялся сказать «да», но и «нет» тоже побоялся сказать.

Горин. В корениники не годится, но пристяжной в новом правительстве оказаться может крепкой.

Рылеев. Пестель, Муравьев, Сперанский... Тройка не из слабых. Может статься, вынесет на первых порах?

Горин. Россия тоже возок не из легких. Что нам остается, Рылеюшка? Пытать судьбу и питать надежды. В Париже ходили к девочонкам, завтра пойдем на медведя.

Николай (прохаживаясь, бормочет). «Да будет царствование наше токмо продолжением царствования Александрова».

Рылеев. Медведя-то обложить как следует надо. А пока только Щепин-Ростовский ручался за свою роту московцев. Репин обещал увлечь часть Финляндского полка — а какую? Кто знает? Арбузов и Коля Бестужев отвечают за Гвардейский экипаж и арест царской семьи. Но с ними тоже только сегодня все пройдется.

Горин. Сегодня и в Бруты надобно кого-то произвести. Думал о сем?

Рылеев. Да. Буду просить Каховского, как все соберутся. Или Якубовича. Он покойным Александром был оскорблец, пусть сквитается с Николаем Первым. Меня заботит другое: основа заговора нашего в верности Константину и нежелании присягать Николаю. А иначе как Николай Павлович не подпишет манифест? Все и сорвется?

Николай. «Да будет царствование наше токмо продолжением царствования Александрова»...

Горин (Рылееву). Хочешь, потешу твою лихорадку? Теперь Николай Павлович вожделенно смотрит на манифест, но говорит: я себя на это никогда не готовил и не чувствую в себе ни сил, ни духу на столь великое дело. Понимаю, что более тянуть невозможно, но, право же, до сих пор не уверен, как поступить...

Николай (Сперанскому, кивнув на манифест). Я себя на это никогда не готовил и не чувствую в себе ни сил, ни духу на столь великое дело. Понимаю, что более тянуть невозможно, но, право же, до сих пор не уверен, как поступить.

Рылеев (улыбнувшись шутке). А Сперанский?

Горин. Поневоле готовят завтрашнее восстание: уговаривает подписать немедля!

Сперанский (Николаю). Ваше высочество! Государственный совет не расходится и ждет от вас подписания манифеста.

Николай (усмехнувшись). Так ведь это бунт!

Сперанский. Се добрый бунт, ваше высочество. Глядите, как бы не дожить до недоброго. Во вчерашнем письме Константин Павлович был окончателен до резкости в своем отрешении от престола. Это не тайна от Государственного совета.

Николай. Знаю. Да покаюсь тебе: страшило.

Рылеев (*Горину*). А ну как все-таки не подпишет?

Горин. Подпишет. Со смирением к воле Государственного совета, полагая, что завтра уж наступит его воля.

Николай (*взволнованно ходит. Потом решительно склоняется к манифесту, размашисто расписывается*). От судьбы, видно, не уйдешь. Цените мое смирение.

Сперанский (*крестится*). Слава богу! Держава царей российских хоть и кругла, а все не мяч. А вы с Константиком Павловичем сверх двух недель ею перекидывались. Две недели на троне был не человек, по гроб. Разве так можно?

Николай. Михал Михалыч! Да ведь ты теперь не великому князю, а государю императору выговариваешь! Откуда смелости взял?

Сперанский. Низко кланяюсь и прощения прошу. Позвольте поздравить вас, ваше величество, с восшествием на престол российский. (*Целует его в плечо*.)

Николай. Меня не с чем поздравлять, обо мне сожалеть надо. Поди успокой моих «бунтарей» в Государственном совете. Я следом за тобой буду, только с мыслями соберусь. И число под манифестом поставь не сегодняшнее, тринадцатое, а завтрашнее, четырнадцатое.

Сперанский. Отныне четырнадцатое декабря тысяча восемьсот двадцать пятого года числом историческим станет! (*Появляясь, выходит*.)

Рылеев (*Горину*). Миша, как думаешь, станет ли завтраший день историческим для России?

Горин. Коли удачно поострим саблями, так и станет. Однако что-то долго никого нет.

Рылеев. Неизвестность паче лихорадки томит. Подpisал ли? Хоть беги ко дворцу!

Горин. В Зимнем наших много. Оттого, видно, и запаздывают, что ждут. Я там подпоручика Якова Ростовцева встретил, велел тут же лететь к тебе, как высочество станет величеством. (*Прислушивается*.) Не Ростовцев ли?

Рылеев (*прислушивается*). Нет... по колокольцам — сани Трубецкого. Пойдем встретим.

Уходят. Во всю сцену загорается колоннада свечей.

Николай (*один*).

Царь. Царствовать. Царить. Царенье. Царство...

Полковник — я фельдмаршалу могу

Отдать приказ, и он приказ исполнит...

Царенье. Царство. Царственность. Я — царь.

Что говорят про нас, царей, в народе?

«Он ест, как царь, он пьет, как царь». И все?

А выдумали, что в народе — мудрость.

Какая чушь! Царь. Царствовать. Царить...

А может, всех во фронт? И всем мундиры?

Всем, всем мундиры, вплоть до мужика!

Мужик в мундире — это ведь солдат...

Ну, а пьют в мундире? Тоже войн?

Притом — талант — он сам как царь.

Казнит кого угодно мадrigalom!..

Царево. Царь. Царица. Возвращайтесь с юга тавров!

Какое существительное есть?

При слове «царский»? «Милость», «гнев»? И только?

А есть ли, предположим, «царский страх»?

Что это значит? Больше, чем обычный?

Ну, а чего бояться мне, царю?..

Царь. Царствовать. Царить. Царенье. Царство...

В свечной колоннаде, сверкнув парчой, возникают Иван

Гроаный, Борис Годунов, Петр Первый.

Я к вам пришел, бывшие государи,

Не просто так из прихоти душевной,

Пришел за делом: дабы отыскать

В своих чертах похожие черты

На тех, кто правил долго и надежно.

Иным из вас историей даны

Таинственные титулы «великих»...

Ты, царь Иван, ты чем велик был?

Грозный.

Страхом.

Николай.

Ты, Годунов?

Годунов.

Боялся, государь.

Николай.

Ты, Петр Алексеевич,— громада,
Поднявшая громаду на дыбы,
Герой Полтавы и герой Гангута,
Ты, вечный победитель, что в крови
Твоей гудело в час победы?

Петр.

Страх.

Грозный.

Что власть такое, сыне? Власть — кинжал,
Что в дланях государя блещет явно.
Ан твой кинжал на свете не один!
Твой блещет явно, а другой таит
Свой лунный блеск в разбойном рукаве.
Хоть и гола Россия, рукавов
Хватает ей с начинкою кинжалльной.

Годунов.

А, скажем, яд. Да разве ты один
С аптекарем в ладах? Узнаешь разве
Закупщика иного? Кто таков?
А может, сын родной. А может...

Грозный (перебивает).

Может,
Такой, как Годунов. На речи — льстив,
И бармы он подаст, а там, глядишь,
И на себя примерит бармы. Ладно
Сидят-то бармы на таких листцах!
Ну, чем не государь? А государя —
Его под дых, ему отраву можно...
(Николаю.)
Ты глазу черному не верь: злодейство
Не токмо душу — и глаза чернит!
(Тычет свечечкой в глаза Годунову.)

Годунов.

Помилуй, государь!

Грозный.

Нет, государь!

Я миловаться с бабами привык,
Я милостыню подавать умею,
Я милости оказывать могу,
А миловать — не дело государей!
Ты, Николай, романовских кровей.
Из вас Михайла первым сел на троне.
Ну, а за что? По доблести какой?
По мелкодумью да по мелкосердью!
Так ближние бояре порешили:
Народу кинуть эту мелочишку,
А сами рядом — вроде как рубли.
При мелочи рубли, они виднее!
Так бойся, государь, того, кто близок.
(Усмехнувшись.)
Зато внучок-от, Петр Алексеич,
Он те рубли приметные потратил:
На лобном месте разменял на кровь.

Петр.

Иван Васильич на меня кивает!
Извел я, верно, семя Милославских.
А деда моего зачем задел он,
Царя Михайлу? А в его роду
Все умниками слыли?..

Годунов.

Государи!
Пошто ты взъелся, Петр Алексеич?
Иван кивает на Петра! Так что же?
На том ведь и стоит святая Русь!
Что главное для нас? Из нас никто
Друг друга не подсаживал на троне,
Мы все равны здесь, хоть разновелики.
Ты дело говори, Романов Петр!

П е т р.

Гром барабанов. Шпаги — из ножон!
Вперед! Ура! Виктория! И вдруг
Солдатский взгляд — что нож к твоей лопатке!
Плечом откинешь! Судорогой! Враз
Оглянешься и шариш глазом: Кто?..
Семеновец? Али преображенец?
А может, он Московского полка?
Лефортовец? Аль кто из грекадеров?
Все, все молчат! У всех в очах — стальное!..
(И кто он, сей предерзкий оружейник,
Что взгляд такой сковал для россиян?)
За плечи брал, в зрачки впивался, в душу!
Молчат. Чужие головы темны.
На плаху разве, чтобы с головою
И замысел злодейственный отсечь?
А может, им врага сыскать иного,
Поляка, турку, шведа — хоть кого?..
Гром барабанов. Шпаги — из ножон!
Вперед! Ура! Виктория! И вдруг —
Солдатский взгляд опять ножом к лопатке!
Плечом откинешь! Судорогой! Враз
Оглянешься и шариш глазом: кто?..
России бойся, государь! России!
Её иль на дыбы, или на дыбу —
Иного нет исхода для нее.

Г од у н о в.

Да что вы, государи, всё об темном?
С Россией венчан новый государь!

Г р о з н ы й.

Россия, царь,— она лихая женка!
Всегда была в неверности к царям!

Г од у н о в.

Да что вы, государи, всё об темном?
Шутов сюда! Гороховых шутов!
(Николаю.)

В твоем заводе нет шутов, Романов?

А то у тронов умники толкуются,
Что любят правду говорить. Так правду
Их надо научить шептать па ушко,
Тогда из них отменные шуты!

Г р о з н ы й.

А ты арапа прикупи аль турку.

Н и к о л а й.

Арапа?.. Есть таков! Арап отменный!
Пиита даже.

Г р о з н ы й. Ну, хош и пиита,
Зато — арап! В шуты его!

Н и к о л а й. В шуты!
Как хорошо, что я нашел решенье!
Жаль, он не здесь.

Г од у н о в. А наши — близко. Рядом.
А наши — с нами. Гей, шуты! К царям!

Выбегают скоморохи.

Грядущего наставьте государя:
В усладе он, в короне, а грустит!

ПЕРВЫЙ СКОМОРОШИЙ ХОД

Скоморохи, окружив Николая, усевшись у его ног, начинают
играть в ладушки.

С ком о р о х и.

Ладушки, ладушки,
Ладушки, ладушки.
В троне-короне
Царева усладушка.

Медом помазаны
Царские почести,
Лапищи тянутся —
Каждому хочется!

Чтобы с удавкой
На шее не маяться,
Бойся семеновцев,
Бойся измайловцев.

Бойся хулителей,
Бойся ласкателей,
Сразу на свору
Пиитов-писателей!

Бойся затворников,
Бойся отшельников,
Всех их на свору,
Всех их в опшайники!

Чтоб не заламывать
Царские рученьки —
Прочие рученьки
Сразу в паручники!

Бойся мужицкого
Черного запаха
С севера, с юга,
С востока и запада.

Бойся одетого
Так же, как голого,
Бойся, коль выявишь
Умную голову.

Тянутся к лапушке
Лапищи разные,
Бойся Радищева
Паче, чем Разина.

Ладушки, ладушки,
Ладушки, ладушки,

Лобное место —
Царева усладушка!

Колоннада свечей гаснет. Свет перебирается в маленькие свечи. А в набежавших пятнах темноты растворяются цари и скоморохи. Вбегает подпоручик Ростовцев.

Ростовцев. Государь!

Николай (схватив одну из свечей, идет прямо на Ростовцева).
Назад! Назад! Назад! Кто таков?

Ростовцев. Подпоручик Яков Ростовцев, адъютант командующего гвардейской пехотой Карла Ивановича Бистрома.

Николай. От него и прискакал?

Ростовцев. Сам по себе. Бунт, ваше величество!

Николай (подносит свечу к лицу Ростовцева). Покажи глаза, не черные ли? Нет, не черные, верю. Говори!

Ростовцев. Государь! Против вас таится возмущение. Оно вспыхнет при новой присяге.

Николай (задумчиво смотрит на Ростовцева). Вот и первый доносчик!

Ростовцев. Ваше величество! Не почитайте меня ни презренным льстецом, ни коварным доносчиком. Не думайте, чтобы я действовал из подных видов моей личности. Нет, с чистой совестью я пришел говорить вам правду. Государь! То, что вы более двух недель отказывались от короны, имея и власть и право немедля надеть ее на себя, подвигнуло к вам мое сердце. Не дайте вспыхнуть бунту, иначе Россия разделится на стреляющих друг в друга россиян.

Николай. Да верно ли то, что ты говоришь? Не скрою, позавчера я и от генерала Дибича был предварен о преступном заговоре. Отрасли его из Второй Бессарабской армии тянутся к Петербургу и Москве. Но, к чести нашей гвардии, должен сказать, что сообщников подобного злодеяния в Петербурге или вовсе нет, или весьма мало. Иначе как объяснить примерный порядок, что длился тут, пока на престоле стоял гроб покойного императора?

Ростовцев. Бунт не стихиен. Его направляют руки, привыкшие отдавать точные команды.

Николай. Может быть, ты знаешь некоторых злоумышленников? (Уловив внутреннее смятение в Ростовцева.) Но скажу тебе: коли не хочешь называть их, полагая это противным твоей совести, то и не называй.

Ростовцев (достает бумагу, подает Николаю). Государь! С верой в то, что вы не прольете крови, отдаю вам известные мне имена заговорщиков. Спасите их как своих заблудших сограждан. И пусть это будет моей присягой на верность поддатства вашему величеству.

Николай (берет бумагу, читает). «Князь Трубецкой?..» «Николай Бестужев? (Ростовцеву.) Не из Московского полка?

Ростовцев. Так точно, московец.

Николай. Вчера нес караульную службу у меня в комнатах. Ведь мог и зарезать! (Продолжает читать.) «Князь Щепин-Ростовский?.. Тоже московец?

Ростовцев. Так точно.

Николай (продолжает читать). «Рылеев, Кюхельбекер»... Знаю сих сочинителей! Видно, прискутило пером по бумаге водить, в дело решили пуститься!.. «Пущин, лейтенант Арбузов, Якушкин, Якубович, подполковник Горин, князь Петр Олешинский, подпоручик Ростовцев»... Ты?

Ростовцев. Так точно.

Николай. Подай перо.

Ростовцев подает ему перо. Николай вычеркивает из бумаги строку.

Подпоручик Ростовцев к заговору не причастен. Что за намерения у бунтовщиков, знаешь?

Ростовцев. Да, государь. Решено было, что, коли вы сегодня подпишете манифест о восшествии, завтра поутру, к восьми часам, привести войска к Сенату, дабы предложить господам сенаторам не присягать вашему величеству. Тут же предполагалось опубликовать составленный к русскому народу манифест. По виду заговор связан с желанием изменить пре-

давней присяге Константину. Но корни его глубже: в устройстве правления российского.

Николай. Где манифест?

Ростовцев. Хранится у Кондратия Рылеева. Сегодня же у Рылеева должны собраться главари для уточнения всех утренних дел. Знаю, что московцев будут поднимать братья Бестужевы— Николай и Михаил. Да еще штабс-капитан Щепин-Ростовский. Рота Гвардейского экипажа должна явиться в Зимний дворец для ареста императорской семьи. У Рылеева должны избрать и цареубийцу, дабы открыть путь к восстанию.

Николай (зевнованно ходит, потом резко останавливается перед Ростовцевым, смотрит прямо ему в глаза). Уж не ты ли тот избранный Брут?.. Ну, что же! Не медли, открывай путь к восстанию! История воздаст тебе за ловкость, а я — весь перед тобой!

Ростовцев (падает перед ним на колени). Государь! Даже если бы и пал на меня страшный жребий, ваша кротость разоружит любое злодейство. (Достает шпагу, протягивает ее эфесом к Николаю, острым концом приставив к своей груди.) Ваше величество, умоляю вас: возьмите мою шпагу. Пусть последствия обвинят меня или оправдают.

Николай. Спрячь шпагу. Под арестом ты мне не можешь быть полезным, а с нею, в случае нужды, ты будешь вернейшим щитом моим. Этой минуты я никогда не забуду, подпоручик. Встань! Знает ли Карл Иванович, что ты поехал ко мне? И с каким делом?

Ростовцев. Он слишком к вам привязан, этим я не хотел огорчать его. Сверх того, я полагал, что только лично с вами могу быть откровенным насчет вас.

Николай. И не говори ему ничего до времени. Я сам поблагодарю его, что он как человек благородный сумел найти в тебе благородного человека.

Ростовцев. Одна просьба, государь! Не делайте мне никакой награды. Всякая награда осквернит мой поступок в собственных глазах моих.

Николай. Наградой тебе — моя дружба. Прощай! (*Целует его в лоб.*)

Ростовцев уходит.

Велеть графу Милорадовичу арестовать всех немедля?.. Нельзя! Перед самой присягой. И за что? Втайном подозрении к заговору? Дурное впечатление сделает на всех. А ну как и впрямь выйдут? Ну что же: чем хуже, тем лучше. Тогда и аресты никого не удивят. (*Заглядывает в список.*) Князь Шепин-Ростовский, князь Трубецкой, князь Оленинский... (*С укором.*) Ах, господа!

Свечи вокруг него гаснут. И тут же загораются в другом месте, высветив Элиз Черемисову и Петра Оленинского.

Элиз. Вы хотите уйти?

Оленинский молчит.

Вы еще сидите в креслах, по я зпаю: вы хотите уйти!

Оленинский. Я не хочу, я должен.

Элиз. Мы с вами условились на завтра, но вы пришли сегодня. Я рада! Но вы пришли... словно чтобы проститься.

Оленинский. Да. Я уезжаю.

Элиз. Далеко ли? Надолго?

Оленинский. Это вам покажется странным, по... может быть, на всегда.

Элиз. Вы меня пугаете!

Оленинский. Меньше всего я хотел бы вас напугать. Я хочу вашего счастья, Элиз.

Элиз. Вы знаете: без вас оно невозможно. (*Пауза.*) Видите, как просто я призналась в том, что люблю вас.

Оленинский. У меня дыхание перехватило. Мне сейчас нельзя этого!

Элиз. Вам дать воды?

Оленинский. Эк вас кидает от откровенности к шуткам!

Элиз. Я чувствую, что отпаивать придется меня. Почему вы уез-

жаете? И зачем — павсегда? Князь! По тому, как вы на меня смотрите, как берете мою руку,— я не могла ошибиться. Не заставляйте меня краснеть!

Оленинский. Помилуй бог, Элиз! Я виноват, что первым не открылся.

Элиз. Это правда?

Оленинский. Это самая горькая правда, какую мне когда-либо довелось испытать!

Элиз. Зачем же горькая?

Оленинский. У нас с вами нет «завтра», Элиз. А что такое любовь без будущего?

Элиз. Вы странно говорите, князь.

Оленинский. Мы с вами что два обломка в море житейском. Нас прибило друг к другу, чтобы тут же раскидать в разные стороны.

Элиз. Князь, это из модной поэзии. Какие же мы обломки? Мы люди! Мы встретились и полюбили друг друга. Когда вы смотрите на меня, я становлюсь красивее всех женщин на свете.

Оленинский. Я бы хотел смотреть на вас вечно. Но у нас нету даже «завтра», Элиз.

Элиз. Вас хотят женить на какой-нибудь юной простушке?

Оленинский. Мы с матушкой договорились: я волен в выборе.

Элиз. Вас пугает, что я не девочка, что у меня был муж?

Оленинский. Мир праху его, не станем вспоминать.

Элиз. Я не любила его.

Оленинский. Элиз, прошу вас!

Элиз. У меня была не добная жизнь, князь. А когда я увидела вас, моя душа стала словно копилка: я туда начала по грошнику счастье складывать. Вы поглядели на меня — в копилку прыгнул грошик счастья. Вы подошли ко мне — еще грошик. Вы танцевали со мной — душа моя звенела от той упомятой мелочи, которая в ее сыпалась. Вы мне подарили много грошиков, князь. Теперь вы должны их все обменять на один золотой. (*Пауза.*) Ну? Почему такая тишина? Почекумя я не слышу, как звенит этот золотой?

Оленский. Он не зазвенит, Элиз: я не свободен.

Элиз (*сдавленным шепотом*). Что?!

Оленский. Элиз, поймите, я...

Элиз (*перебивает*). Нет-нет! Я знаю, это не женщина. Князь! Вы верите в бога?

Оленский согласно кивает.

В детстве я думала, что иконы — это окошки в боговом доме. Бог, как из окна, глядит из иконы на грешный мир наш. Так и кажется, что надоест ему, отойдет в сторону — и в иконе пусто станет. Тогда пустоте молись, только воображай, что он где-то там. А ну как совсем из дома вышел? И двери на замок?.. Князь, поглядите, икона не пуста?

Оленский. Нет, Элиз.

Элиз. Тогда встаньте передней па колени. И поклянитесь мне, что вы непричастны к тайным обществам, о которых теперь все шепчутся. Тогда я ничего более не стану выспрашивать и отпущу вас с легкой душой. Ну? Что же вы?

Оленский (*не двигаясь с места*). В иконе пусто, Элиз.

Элиз. Так вот что за отъезд! Но почему же навсегда?

Оленский. Дело может обернуться по-разному.

Элиз. Так вы и дело замыслили?

Оленский. Кабы одни мысли без дела — так и тайного общества не падобно.

Элиз (*смотрит на него*). Бедные мальчики России, бедные мальчики России!

Оленский (*с легким раздражением*). Но почему же «мальчики»?

Элиз. Прости, князь. Мужчины, созревшие до понимания своего долга перед отечеством.

Оленский. Не след этим шутить, Элиз.

Элиз. А разве я шучу? Или эта шутка так смешна, что у меня от смеха навернулись слезы?

Оленский. Элиз, поймите! В наше время свет уже утомился от военных подвигов и славы героев, совершаемых не ради помочь страдающему человечеству, а ради его угнетения. Нет, Элиз, иные наступили век гражданского мужества, и я чувствую,

что мое призвание выше: я буду лить кровь свою, но за свободу отечества, за счастье соотечественников, для исторжения из рук самовластия железного скриптера!

Элиз. Бедные мальчики России, бедные мальчики России, вы всегда готовы за что-нибудь умереть!

Оленский. Элиз, что за причитания!

Элиз (*подходит к нему вплотную, смотрит в его глаза*). Князь! У тебя в глазах обреченнность и счастье. Вот видишь, ты также просто признался мне в своей любви, как я тебе — в своей.

Оленский. Элиз! Не надо сравнивать.

Элиз. Да, ты прав. Твоя — куда как больше! Обширнее! В моей нет «соотечественников», кроме тебя. А в твоей — их много. Прости, князь!

Оленский. Элиз! Вы и плачете и издеваетесь надо мной!

Элиз. А что я еще могу, князь! У тебя ведь это от чтения, а не от жизни. А кандалы будут настоящими — железными и тяжелыми. Кабы ты уж прошел в них пол-России, ты бы мог, имел право говорить о страждущих «соотечественниках». А то ведь — все от воображения. Свобода? Отпусти своих крепостных. Пусть все члены вашего общества отпустят своих крепостных — вот пол-России и па свободе! А зачем же кровь? Хочешь, я и своих отпущу? Давай будем с тобой нищими, а?

Оленский. Элиз, прошу вас, не надо упрощать!

Элиз. Да куда же проще? Вы — болтуны, слишком много болтали друг другу о свободе, о равенстве, о братстве. Клятвы страшные произносили, поди? Вот ваши слова и приперли вас к делу. Прости за грубость, князь, иначе не могу! Теперь вам друг от друга и деваться-то некуда: либо па бунт, либо в глаза друг другу не смотреть. Честь дворянская — она что шпага: ее либо в дело, либо ломай над головой, коли уж в чем пообещался. Так ведь, а?

Оленский. Все гораздо сложней, Элиз. Не одна боль сердца ведет нас к подвигу... есть еще и боль мыслей о родине.

Элиз. Боль мыслей — это когда голова болит. Не принести ли тебе нюхательной соли?

Олениский. Элиз, это нестерпимо!

Элиз. Терпи, князь, коли уж терпеть вызвался. Да неужто у вас все такие мальчишки, как ты?

Олениский. Нет, есть и зрелые летами.

Элиз. Что же они, а? Или я чего-то не в силах понять? Знаю одно: коли была бы я матерью тебе — заперла бы в чулан немедля. Коли жепой — в ноги бы упала, руками сапоги опутала, лицо бы о шпоры изрезала, а умоляла бы! Коли сестрой романтической — поцеловала бы благословляющим целованием! А кто я тебе? Ты на меня глядишь, словно на пустую икону. Что я могу тебе сказать? Пусть благословит тебя несостоявшееся мое счастье!

Олениский. Элиз, ты прекрасна!

Элиз. Знаю, князь. Для тебя все прекрасное во мне! А тебе — за ненадобностью. Хоть назначь день и час, когда придешь.

Олениский. Может статься, что и вовсе не приду.

Элиз. Знаю. Все равно назначь.

Олениский. Элиз! Доводилось ли тебе бывать в березовой роще, летом, в полдень, когда все в ней светится? Стволы — слепят, листы пробиты золотыми лучами, словно то мечи в руках светового воинства, не поразив, пропали их насеквоздь. И от света легкий звон исходит, будто то воинству золотые мечи!..

Элиз (тихо). Князь! Не пущу!

Олениский. Элиз! Через сто лет в березовой роще! Слышишь? Через сто лет в березовой роще! Прощай!

Элиз. Да, родной мой. Коли будет совсем худо — позови. Криком сердца позови, я услышу. Приду сквозь казематные стены, я ведь такая.

Олениский. Позову, Элиз. Но может, и не случатся казематные стены?

Элиз. Кабы ты сам верил, что не случатся, так и не случились бы. Веришь?

Олениский. Прости, Элиз, о другом думаю.

Элиз. Тогда ступай. Заждались, поди, тебя твои «соотчики».

Олениский. Заждались, Элиз. Еще раз — прости. (Выходит.)

Элиз. Прости и ты, князь. Через сто лет в березовой роще!.. (Па-

дает на колени.) Бедные мальчики России, бедные мальчики России!

Раздается женское пение. Мимо Элиз идет шествие монашенок в черных клобуках, со свечами. Последняя из шествия задерживается подле Элиз. Остальные уходят, пение замирает вдали. Монашенка откладывает клобук, показывается лицо старухи.

Старуха. Рассыпалась твои грошики счастья, а?

Элиз. Поди прочь, нищенка!

Старуха. Это я-то нищенка? А ты кто? По грошику счастье собирала! Я-то хоть пятаки клянчу Христа ради! Пятак — он потяжеле, понадежнее. (Хихикает.) «Через сто лет в березовой роще!.. Виши, что выдумали! Да ты погляди на меня, погляди! Страшненькая я, а?.. Так ведь я — это ты через сто лет!

Элиз. Уйди, Христом-богом прошу!

Старуха. Я-то уйду, а вот ты от меня куда уйдешь, коли я — это ты через сто лет? Да ты не бойся, гляди на меня, гляди. Твоя любовь, твоя ненависть превратятся в мудрость. Мудрость — это когда ты уже никому не нужна, а тебе еще нужен хоть медный пятак. Когда тебе еще что-то нужно — значит, еще есть жизнь, кусочек жизни, пятачок жизни! «Через сто лет в березовой роще!» Эва, куда кинули! Да ведь рассказнят твоего князя. Слыши, какозвучно звонит: князь — казнь. А? Словно шпоры на молодом государе.

Элиз. Замолчи, проклятая!

Старуха. Что же себя-то проклинать, зачем это? Уж не надоела ли я тебе? А, понимаю: не сладко на свою старость глядеть! Ты ведь еще другая, чем я. Только я не такая себялюбка, чтоб ничего не попросить у другого. Когда просишь что-нибудь — только другому делаешь приятное. К примеру, пятак! Человеку всегда приятно расстаться с пятаком ради ближнего своего. С пятаком, не больше. Больше — уже неприятно. Ваше сиятельство графиня Черемисова! Дайте пятак обиравшей графине Черемисовой! Мне сто двадцать пять лет, а

вам двадцать пять. У вас много пятаков — у меня ни одного. Я хочу сделать вам приятное, мадам: попросить у вас пятак. Ну, дайте же мне его!

Элиз. Пошла вон!

Старуха (канючит). Пятак, мадам! Пятачок всего!.. Ух ты, моя маленькая! (Делает из пальцев «козу».) Я коза-дереза...

Элиз. Пошла прочь, нищенка! Вон, вон, прочь, скоморошка!

Старуха задувает свечу. Темнота. Разгорается свеча у постели Рылеева. Подле нее сидят Горин и Олениский. Они курят чубуки. Кругом — множество погасших чубуков, словно только что разошлась большая компания. Входит Рылеев.

Рылеев. Теперь боле никто не придет. (Бросает на подушку кинжал, с которым вошел.) Не было только Якова Ростовцева, да он оповещен. (Собирает чубуки, считая по ним бывших гостей.) Трубецкой, Николай Бестужев, Саша и Михаил Бестужевы, Кауховский, Арбузов, Репин, Коновницын, Одоевский, Сутгоф, Пущин, Кюхельбекер, Батенков, Якубович, Щепин-Ростовский... Не густо!

Оленикий и Горин прикладывают для счета свои чубуки к пучку, зажатому в руке Рылеева, и тут же отнимают их, продолжая курить.

Что?.. Да-да: ты, Оленикий, ты, Миша...

Горин (Рылееву). Ты словно гостей к ужину подсчитываешь.

Рылеев. К завтраку, Миша, теперь уже к завтраку сегодняшнему. Но мало будет званых гостей к завтраку на Петровской.

Горин. А незваных не хочешь учесть?

Рылеев. Незваных я боюсь пуще артиллерии Сухозанета. Незванные увидят смысл восстания в том, что кабаки пограбить.

А главное для революциониста — не убить лебедя в душе.

Горин. Какого еще лебедя?

Рылеев. В каждой душе лебедь живет. Убьешь лебедя — зверем стапешь.

Горин. Жалость, что ли, твой лебедь? Тогда ему надобно шею свернуть, чтоб не мешал.

Рылеев. Не жалость, а чувство прекрасного.

Горин. Коли уж превращать душу в птичий двор, там сокола должно пестовать. Ведь с чудищем сражаться, с орлом о двух головах!

Рылеев. Нет, Миша. Сокол кидается на врага по профессии, а не по сердцу. А разгневанный лебедь — всем своим существом. Сие и есть революция. И нам не клювы тренированные надобны, а однолюбство лебединое. Ведь мы свободу возлюбили, Миша! Опа что поруганная подруга подле нас.

Оленикий. Господа! Восстание в моей крови бродит, как шампанское!

Горин. Русский мужик не пьет шампанское, он водку дует. А от водки иной хмель, без пузырьков.

Оленикий. К чему ты помянул мужика, Миша?

Горин. К почи. Чтоб тебе страшнее было.

Оленикий. От мужика восстание надобно скрыть. И близко не подпускать его к сему делу! Мы не Разины, не Пугачевы. Горин. Что ж ты войну с Буонарроти не скрыл от мужика? Решить бы ее картелью с маршалом Неем, и вся недолга! А то ведь неудобно француза вилами по голове шарашить!

Оленикий. Я не пойму твоей злости, Миша. Разве мы не народ готовы головы положить? Разве не тому же твоему мужику жаждем подарить свободу? Это дорогой подарок, Миша. Может статься, мы за него кровью платить будем.

Горин. Мне все кажется, Петр, что ты восстание как трагедию на театре представляешь. Вот опустился занавес, господа артисты переоделись и разбрелись — кто домой, кто к Дюме. А ведь кровь настоящая будет. И неизвестно, хватит ли одной нашей на столь дорогой подарок. Не пришлось бы заплатить у всей России. У того же мужика, которому ты и вольную сулишь и побаиваешься.

Оленикий. Нет-нет, Миша. Вилы — это страшно. Вилами должно сено ворочить. А свобода — она сверкает на острие шпаг.

Горин. А переносишь ли ты материную ругань, князь?

Олениский. Я... не пойму тебя.

Горин. Все просто. Мы идем не лицедействовать, а выпускать кишки на грязную мостовую. И многие будут выть от жалости к себе. Но революция уже переступит через них и пойдет дальше. Жестокая! И кровь будет не алая, романтическая, а грязная, смешанная со снегом и конским дерьмом. И станут люди матерно ругаться, чтоб как-то облегчить себя. Но они отдадут себя за революцию, и неважно, что они ругались перед смертью. И смерть будет не красавая, не романтическая, а простая, грубая, со вспоротами от штыков животами, с разодранным от картечей мясом. Не господская, но революционистская!

Олениский. Миша это очень страшно.

Горин. Ты же собирался жизнь отдать!

Олениский. Жизнь отдать не страшно, а то, как ты говоришь,— страшно.

Горин. Ладно, господь с тобой. Ступай отдохни, ведь нынче в дело.

Олениский (*вдруг устав*). Да, я пойду прилягу. Прощайте, господа. (*Уходит*.)

Рылеев. Зачем ты его так? Он же почти всем мужикам вольную дал, матушку уговорил.

Горин. Не знаю. Смутно мне. Был под Кульмом, под Бородиным — и ничего. А тут...

Рылеев (*тихо*). Я понимаю. В своих ведь, Миша. В своих! В того, с кем вчера еще об литературе беседовал.

Горин (*кивает на книжал, брошенный Рылеевым на подушку*). Каховский так и не взял книжала?

Рылеев. Нет. Под ноги мне швырнулся на лестнице.

Горин. Дети. Истинно дети! Непременно цареубийце символический книжал надобно вручить! Каховский прав: он нынче не для забавы выйдет. Я знаю — он переступит кровь.

Рылеев. Ножны изломаны, sabли спрятать нельзя. Да вот... лихорадка у меня. И зуб разпался.

Горин. Не отменить ли восстание по сему поводу?

Рылеев. Шутишь все! А скоро — по полкам, солдат поднимать. Поднимутся ли?

Горин. Как поднимать, Рылеюшка. Ежели им про лихорадку да про зуб рассказывать... так ведь и у них лихорадка начнется. А коли к ним с лебедем в душе, так и в них лебедь очнуться может.

Рылеев. Мне показалось, ты давеча усмехнулся на лебедя, сколом его обернул.

Горин. Каждому свое, Рылеюшка. Ты — поэт, тебе и лебедь из песни.

Рылеев. Я знаю свою беду: планщик я. Это Пушкин так про мои стихи сказал. Верно, и в деле восстания планщиком был. По плану все у меня сходилось. А сегодня надо в живые глаза смотреть, живые слова говорить. Да попроще, чтоб солдатской голове понятно стало. А я думаю, как расположить полки на Петровской, чтоб цвет к цвету. Снова план. Планщик и есть! (*Пауза.*) Как думаешь, что с нами потом сделают?

Горин (*вскочив, долго смотрит на Рылеева. Тихо*). Сквозь строй прогонят.

Рылеев. Я шпицрутенов не выдержу.

Горин. Я про государственный строй. Сквозь него гнать будут. Тут уж никто не выдержит.

Рылеев. Я давеча книжно перед всеми говорил. Не находишь? Словно для мемуаров будущих. Ненавижу себя за это.

Горин. Но зажигательно.

Рылеев. Видно, огонь словами поистек. Вот... зябко.

Горин. Лекарства не надо ли принять? Ты скажи где, я подам.

Рылеев. Все под рукой. Глупо! Микстуру пить перед таким делом.

Горин (*усмехнувшись*). Ежели для мемуаров — тогда можно. Факт исторический. Коли жив буду, опишу для потомков.

Рылеев (*смотрит на него*). Красивые мундиры у нас. Просто глаз уже пообыкан, а сегодня я гляну на всех свежо. Не восстание, а парад красок. Словно для Брюллова стараемся.

Горин. Коли крови не переступим — все парадом и останется.
Тогда и Брюллову нечего будет делать.

Рылеев. А коли переступим?

Горин. Тогда она за нами — степой. И только вперед! А мундиры порвем о пули да о штыки.

Рылеев (*усмехнувшись*). И пе жалко?

Горин. Эх, Рылеющка! Чего жалеть-то? Кабы еще мундиры по людям! А то ведь у нас людей по мундирам расставляют. «Ваше превосходительство, ваша светлость, ваше святейшество» — сие говорят мундири, а не человеку. Человека можно и взашай! Был бы мундир, посыпель для него всегда пайдется. Ты-то, самопадеящий, думаешь, что выбираешь себе Пажеский корпус или служение по морскому ведомству. Нет, мой милый! Не ты примеряешь шляпу, а шляпа примеряет твою голову, смотрится в зеркало, идет ли ей твое лицо. Надел человек вицмундир с «Анной» второй степени, а вицмундир сам вышагивает в сенат. Знает, капалья, что именно там ему место! А человек в этом мундире только суставами двигает. Наденет русская баба передник — передник шастить, разнесчастную, на барскую кухню: не человек, передник свое место знает — тоже мундир. Такое и порвать не жаль.

Рылеев. Злость твоя бодрит, Миша. Пора и в полки. (*Сбрасывает халат, поднимает свечу*.)

Свеча вырывается из тьмы лицо подпоручика Ростовцева.

Ростовцев. Господа!..

Горин. Ты опоздал, друг, уж все разошлись. Хочешь вина? Выпьем — и к делу!

Ростовцев. Господа! Я присягнул на верность государю.

Пауза.

Горин. Надеюсь, не нашими именами?

Ростовцев. Господа! Я исполнил свой долг. Все меры против возмущения будут приняты, и ваши покушения будут тщетны.

Рылеев (*Ростовцеву*). Ты сошел с ума!

Ростовцев. Будьте верны своему долгу, и вы будете спасены. Горин. Кондратий! Вели запереть двери: его нельзя выпускать отсюда. (*Ростовцеву*.) Ты должен погибнуть прежде всех и будешь первою жертвой!

Ростовцев. Горин! Ежели ты почитаешь себя вправе мстить мне, то отмщай.

Горин. Я и не замедлю. Рылеев, дай нам пистолеты.

Рылеев. Нет, Горин! Ростовцев не виноват, что различного спа- ми образа мыслей. Не спорю, он изменил нашей доверенно- сти. Но он действовал по долгу своей совести, жертвовал жизнью, идя к императору как член тайного общества...

Горин (*перебивает*). В том он императору не открылся!

Ростовцев. Господа! Я открыл и в этом. И, как видите, про- щен. К тому же призываю и вас.

Рылеев (*Горину*). Вот видишь! Он и вновь жертвует жизнью, идя к нам. Ты должен обнять его как благородного человека! (*Обнимает Ростовцева*.) А теперь уходи, несчастный брат мой.

Горин. Да, я тоже его обнимаю. И желал бы задушить в своих объятиях! Но ты прав: пусть убирается. Боле того, что уже сделал, он не сделает.

Ростовцев. Коли вы меня отпускаете, господа, я ухожу. Но советую вам повиниться перед государем. Он не успел еще приобрести себе приверженцев. Станьте первыми, и от наших совместных усилий ума государство наше бескровно подви- нется к прогрессу!

Горин. Я более не могу слушать сего мыслителя! (*Ростовцеву*.) Убирайся, или я пристрелю тебя как собаку! (*Поднимает пистолет*.)

Рылеев (*бросается к нему*). Миша, опомнись!

Горин. Гляди, Ростовцев, всем иконам не перемолишься.

Ростовцев. Я выбрал себе, господá. Советую и вам того же.

Рылеев. И мы выбрали себе. Поди, Ростовцев, поди!

Ростовцев. Прощайте, господа! (*Уходит*.)

Горин. Итак, мы заявлены! Ну что ж, лучше быть взятыми на площади, нежели на постели. Пусть лучше узнают, за кого мы погибаем, нежели будут удивляться, когда мы тайно ис-

чезнем. Теперь иного выхода просто нет. (*Пристегивает саблю.*) Оглянемся на последок, Кондратий: мы не имеем установленного плана, меры принятые ненадежные, число наличных членов в Петербурге невелико...

Рылеев. Я уверен, что мы погибнем, но пример останется. Принесем собою жертву для будущей свободы отечества, Миша!

Горин. Ладно говоришь, Рылеюшка, хоть и высоко. Да сегодня, видать, иначе и нельзя.

Рылеев. Прости, пойду перекрещу Настенькину колыбель.

Горин. Благослови и от меня. Да не буди, не тревожь ее «лапушек» да «байнек».

Рылеев. Я скоро. (*Уносит свечу.*)

И тут же свеча возвращается. Но выносит ее уже не Рылеев, а Антон — крепостной Оленских. Он нечесан, бос, но в ливрее. Навстречу выходит Олениский, тоже со свечой. Останавливаются друг против друга. Появляются скоморохи.

ВТОРОЙ СКОМОРОШИЙ ХОД

Скоморохи вереницей проходят между Антоном и Олениским, бросая к ногам Оленского — кто пару полушибков, кто саблю, кто груду белья, кто охапку душегреек.

Скоморохи.

Детушкам — ладушки,
Детушкам — башни,
А холоп снаряжал
На восстание барина.

Надень душегрееку,
Батюшка-барин:

Петровская площадь
Я, чаю, не баня!

Просьбу холопскую,
Барин, исполни:
Надень, благодетель,
Две пары исподних!

Сабелька вострая
Вложена в ноженки,
Да как бы в мороз
Не простили ноженки!

Мороз-то в окошко
Глядится не слабенький,
Ах, как бы к ножнам
Не примерзла сабелька!

Детушкам — ладушки,
Детушкам — башни,
А холоп снаряжал
На восстание барина.

Скоморохи скрываются в глубине сцены.

Олениский. Ты зачем столько одежды навалил? Я тебе велел по-
дать одеваться как всегда.

Антон. Как всегда — не гоже. Бунтовать, чай, идете, а бунт —
дело уличное, морозное. Вот я и принес вам туалетчики на
выбор, на две пары исподнего извольте надеть.

Олениский. Какой бунт, какой бунт, что ты мелешь?

Антон. Я не мельница, чтоб молоть. А бунт — известно какой.
Сами знаете.

Олениский. Я-то знаю, да ты откуда знаешь?

Антон. А господа у вас собирались, так вы мне велели в кабинет
кофею подавать.

Олениский. Подслушивал?

Антон. Уши у меня свои, не привязанные, за дверью их не оставишь. Как хотите, а без душегреечки да деревенских носков не выпущу.

Оленикий. Да знаешь ли ты, за что восстание?

Антон. Как не знать. За парод, известно. Всем вольную дадут, бочку с водкой выкатят па Петровскую площадь. Как не знать! Уж господа об нас, мужиках, подумают. На то и образованные, чтоб думать.

Оленикий. Мы за вас жизнь кладем па алтарь вашей свободы!

Антон (хмыкнув). Да что я, бог, чтобы мне — алтарь? (Вдруг озлившись.) А на кой мне хрен ваша свобода? Куда я с ней, по миру? У вас и в тепле, и в небитье, а на свободе что?

Оленикий (растерявшись). Холуй ты!

Антон. Верно, холуй. А только моему холуйству иной пехолуй позавидует. Ваша-то неволя — дом теплый, харч.

Оленикий. Всем так будет!

Антон. Нет, всем не будет. Сколько ртов-то в России, а? Нет, всем не хватит. Тепла, да вина, да хлеба? Не хватит! Вот вы говорите — я холуй. Верно. Для вас — холуй. А для других — ливрейный человек, господин для нищих, милостыньку по даю. Неважко, что от имени вашей матушки. Подаю-то я! Мне нищие кричат: господин, милостивец, благодетель! А вы мне — вольную. Нехорошо, барин. Разве я вам не раб был?

Оленикий. Раб ты и есть. Пшел! Глядеть тошно!

Антон. Вы не пинайтесь, вы лучше наденьте, что потеплее: зима ведь!

Оленикий. Подай тулуп да саблю.

Антон (подает ему тулуп). К обеду вернетесь?

Оленикий. Хорошо, что не один ты на свете раб подневольный. Есть за кого жизнь положить! Вон солдаты: двадцать лет службу несут. Мыслимо ли?

Антон. Оно, конечно, верно: солдатам нелегко.

Оленикий. Вот видишь!

Антон. К обеду, спрашиваю, вернетесь? Один или с гостями?

Оленикий. Да ты что, издеваешься надо мной? Пусти! Уж осьмой час.

Антон. Бунт, чай, не служба, не опоздасть.

Оленикий. Жаль мне непонятливой твоей головы... «раб мой» Антон!

Темнота. И тут же, одна за другой, на разной высоте, во всю глубину склепы начинают загораться тусклые свечи. Это ранним декабрьским утром просыпается Санкт-Петербург. Прямо на нас идут Горин, Рылеев, Оленикий. Под их сапогами хрустит снег.

Рылеев. Не надеюсь на Якубовича. У него была непависть к Александру, тот его из гвардии выдворил. А Николай еще не показал своего тиранства. Попимаю, что тиран и другим быть не может. Да ведь еще не показал! Надобно непавидеть его загодя. А как? Сердцу не прикажешь ни в любви, ни в непависти.

Горин. Ты про Якубовича или про себя?

Рылеев. И про себя тоже. Я ответа не боюсь, все мосты сжег за собой. Страшно одно: непависть не подкатаивает к горлу. А убивать без непависти — быть убийцами, а не революционистами. Да еще артиллерия вся под рукой Сухозанета, а он не с нами. Мыша! Может, рапо начали? Может, напрасно выбрали четырнадцатое декабря?

Горин. Это не мы выбрали четырнадцатое декабря. Это четырнадцатое декабря выбрало нас.

Оленикий. Ах, как славно мы умрем, господа! Ах, как славно мы умрем, господа! Ах, как славно мы умрем, господа!

Свет медленно гаснет. Остаётся только звук: хруст снега под сапогами. Он ширится, растет, словно уже не три, а три тысячи человек идут по заснеженной мостовой.

ЧАСТЬ
ВТОРАЯ

ТРЕТИЙ СКОМОРОШИЙ ХОД

Скоморох (на авансцене).

Давай, скоморох,
Про свое голоси:
Про то, как убили
Смех на Руси!..

Давно-предавно,
А может, и ранее,
Скоморохи смехом
Людишек ранили.

А людишки-то были
Цари да бояре,
Ничего не боялись,
А смеха боялись.

И вот порешали
Наши надёжи
Пожечь скоморошье
Трянье да одёжу.

Звонцы-бубенцы,
Говорливые дудки,
Ехидные гусли,
Шутейные шутки.

Скомороши слезы
Текли рекой,
А костры горели
За Москвой-рекой.

За Москвой-рекой —
Там гуляла смерть,
За Москвой-рекой
Убивали смех.

Бубенцы скоморошни
Лошнули,
Поклонились мы месту
Лобному.

Зазвонил тут на церкви
Колокол,
И его на Лобное —
Волоком.

Потому, как царю
Почудилось:
Был не грозный звон,
А сочувственный.

Колокольное слово
Крамольное,
Вот и нет языка
Колокольного!

Скоморошему племени
Воздали:
Вырвали уши
И ноздри.

Мы не горем
Были убитые:
Топором по горлу
Убитые!

А как всех пас, покойников,
Сложили,

Скоморохи взяли
И бжили.

И пошли гулять —
Ой ты гой еси! —
С перегудами
По честной Руси...

Ладушки, ладушки,
Ладушки, ладушки,
Любное место —
Царева усладушка!

Загораются свечи. Допросный стол зеленого сукна с канделябрами. В стороне — в зажженных свечах — новогодняя елка. Тридцать первое декабря тысяча восемьсот двадцать пятого года. Уронив на стол руки и голову, сидит Сперанский. Входит Николай.

Николай. С наступающим Новым годом тебя, Михал Михалыч!
Сперанский (вскочив). И вас также, ваше величество!

Николай подходит к Сперанскому, трижды целуется.

Николай (ворошит на столе бумаги). Рылеев уж и прислал допросные листы? Ретив! (Просматривает бумаги.) Молодой человек, исполненный любви к отечеству! Но патриотизм его в самом преступном направлении. Вели послать ему еще бумаги и перьев, пусть пишет. Литератор! А на тебя Александр Христофорович Бенкendorf бил мне целом: говорит, ты слишком мягок в дознаниях. Могу попять твоё синхронжение к прошлым друзьям. (Смотрит на Сперанского.) Быть может, они и теперь тебе близки?

Сперанский. Но, ваше величество...

Пауза.

Николай. Я слушаю тебя, Михал Михалыч. Ты надеялся, что я тебя прерву? Нет-нет, я слушаю.

Сперанский. Ваше величество, это Александру Христофорычу с руки все допросные дела, а мне... Я ведь предназначал себя для просветительства.

Николай. Разумеется, ты не Бенкendorf. Тебе и след заниматься просветительством.

Сперанский. Как связать ваши слова, государь, с моим нынешним положением допросчика?

Николай. Недоволен, что занимаешься допросным делом? Грязным его почитаешь? Голову на стол роняешь от отчаяния? Вы, рыцари духа, аристократы ума и сердца, в чистоте друг перед другом оставаться хотели бы, так?

Сперанский. Ваше величество! Не дайте мелкозлобию укрепиться в душе вашей. Явите Россию второго Петра. Не Петра Второго, но второго Петра Первого!

Николай. А он князей Милославских заставлял головы рубить князьям Милославским.

Сперанский. Я не в том смысле призываю вас, государь!

Николай. Ты не попял своего назначения ни в следственную комиссию, ни в следственной комиссии.

Сперанский. Я верный подданный вашего величества, государь, и полагаю, в том мое назначение и в комиссию и в комиссии.

Николай. Я простил тебе твое несостоявшееся участие во временным правительстве бунтовщиков.

Сперанский. Государь! Вы знаете, то участие было невольным: я ничем не был связан с Тайным обществом.

Николай. Знаю, Михал Михалыч. Воистину ничем, кроме единого образа мыслей.

Сперанский. Государь!

Николай. Я тебе и это простил. Твой император не глуп и понимает, что образ мыслей не есть еще прямое злодейство. Неужто ты полагаешь, что я учредил нашу комиссию только лишь для того, чтобы убедиться в виновности моих «друзей» по четырнадцатому дню? Их явление на Петровской убедительнее всех доказаний!

Сперанский (с осторожностью). Но не все ваши «друзья» по четырнадцатому дню еще явлены в комиссии, государь.

Николай. В этой стороне дела лучше разберутся Левашов да Бенкендорф. Меня же обременяет иная забота. Тут мне и надобен твой просветительский ум, Михал Михалыч. Не притомился ли ты?

Сперанский. Нет-нет, я внимателен к вашим словам.

Николай. Тогда позволь мне иметь с тобой откровенность. Уж не первый день идет дознание, и я многое понял. Бунтовщики были разрознены и в своих действиях и в своих чувствах. Они не могли одержать победы, и они это знали. Они вышли на площадь с обреченностю в сердце.

Сперанский. Но они вышли, государь.

Николай. Я этого не забыл. Но зачем вышли? Для цареубийства?.. Всех Брутов, что были в руках Пестеля, знаю: Якубович, Каходский, Якушкин. Да еще полковник Булатов признался, что два часа простоял подле меня с пистолетом в кармане. Одному Пестелю было это воистину надо, ради собственного интереса. Остальные так и не решились.

Сперанский. Обстоятельства сложились не по ним, вот и все. Николай. Обстоятельства съзмальства сложились не по ним.

Гвардейцы, цвет дворянства российского! Возлюбили народ, мужика, а на балах прыгали в Зимнем! Заколоть государя? Да это же воткнуть кинжал в свою плоть, свою кровь пролить — и больно и страшно. Любовь к мужику — умозрительство, а тут все истинное, свое, с младых ногтей любимое. Вот и не решились. А на площадь вышли, дабы явить потомкам геройство, стать для них легендой прекрасной. Сто прапорщиков строем, при параде решили войти в историю!

Сперанский. Они войдут в нее как мученики, государь.

Николай. Они войдут в нее как свиньи. (Пауза.) Что молчишь, Михал Михалыч? Обиделся за своих прошлых единомышленников? Я стану их пастырем на сей случай. Сперва — прутиком, прутиком — в грязь, в лужу, а потом — прутиком, прутиком — в историю государства Российского: пожалуйте, господа, явите ваши свиные рыла потомкам!

Сперанский. Они... добра хотели, государь! Они... не свиньи! Николай. Героним проявляешь, Михал Михалыч? С императором споришь?

Сперанский. Простите, ваше величество. Восстание-то всего лишь на три улицы было.

Николай. Всего лишь на три улицы и на всю Россию. А там, глядишь, и на сто лет вперед. Всего лишь! Знаешь не хуже меня, Михал Михалыч, но хочешь принизить, дабы суровость мою укротить.

Сперанский. Не я, бог призывал к милосердию!

Николай. Крови не пролью, сам уповаю на бога. Но не могу допустить, чтобы сии господа вошли в историю как герои.

Сперанский. История — не календарь, ваше величество. Не в нашей власти вырвать из нее листок с четырнадцатым декабря.

Николай. Листок-то пока пуст, Михал Михалыч. И в нашей власти заполнить его... руками моих «друзей» по четырнадцатому дню. (Смотрит на Сперанского.)

Сперанский (догадавшись). Государь! Вы хотите, чтобы каждый из них совершил низость и с тем предстал перед судом потомков?

Николай. Ну что ж, совет твой делен.

Сперанский (испуганно). Государь! Я ничего вам не советовал! Мне кажется... я только... осмелился прочитать вашу мысль.

Николай. Ну, а коли осмелился прочитать, так поимей смелости и выслушать.

Сперанский. Нет-нет, государь! Сия мысль должна оставаться мыслью тайной!

Николай. Коли она останется мыслью тайной, ты в своих мемуарах догадку об ней можешь сделать. А коли я поделюсь ею с тобой — ты и промолчишь.

Сперанский. Соучастием хотите повязать меня, ваше величество?

Николай. В таком деле дружба просветителя Сперанского мне

—дороже службы генерал-адъютанта Бенкендорфа. Доверительной дружбой хочу тебя повязать. Что ж не благодаришь?

Сперанский делает низкий поклон.

То-то, Михал Михалыч! А теперь слушай: прошедшее России было удивительным, ее настоящее более чем великолепно, что же касается ее будущего, то оно выше всего, что может нарисовать себе самое смелое воображение. Вот, мой друг, точка зрения, с которой русская история должна быть рассматриваема и писана.

Сперанский. Как в подобную концепцию уложить бунт на Петровской, государь?

Николай. Глаза потомков остры. Понадеемся, что они захотят поверить легенду документами. Что же они найдут в них? Рылеев валил вину на Каховского, Каховский — на Рылеева и Оболенского, Оболенский — на Пущина с Кюхельбекером, лейтенант Арбузов — на братьев Беляевых, те вдвое лейтенанта Арбузова чернят... Грязь, грязь, Михал Михалыч! С грязными душами и грязными руками вышли моп «друзья» на Петровскую площадь. Под мундирами да лайкой перчаток попачкали не видно было, а как сорвали с них мундиры, так и потекло зловоние от распрай и допосов. В будущем новый Карамзин даже очки прорвет, читаячи подобное: «Вот ведь как они, а?.. Романтизм только поверху, а под ним сущность, единая для всех человеков,— трусость, подлость, наветы! А еще революционисты! Не славить их должно, а сечь. Мертвых, шпицрутенами!..» Документ! Собственноручно писано Рылеевым, да Каховским, да Арбузовым, да братьями Беляевыми. А?

Сперанский. Государь! Но они тверды.

Николай (усмехнувшись). Давеча Кондратий Рылеев тут сломился, слезы лил. А я целовал его, в глаза смотрел с любовью, сам призывался в своих революционистских наклонностях. Он и уверился в своей неправоте. А уверившись, как человек воистину честный, признал неправыми и других своих соумышленников. Каховский как прослыпал об этом,

распался ужасно. Мы с ним подружились на том, что вместе честили Рылеева за непорядочность. В своем честении Каховский был усерден, даже еще несколько имен показал, коим никогда не доверял в Обществе.

Сперанский (вытирая платком со лба испарину). Государь! Ваш заговор паче декабрьского. Он воистину на сто лет вперед!

Николай. Рад, что ты оценил мое усердие перед историей, Михал Михалыч. Теперь ты понял истинное назначение высочайше учрежденной комиссии по расследованию? Как же в такой комиссии без просветителя Сперанского? Да его взгляды и убеждения оградят меня от всякой подозрительности!

Сперанский (в отчаянии). Но, государь!..

Николай (перебивает его). Выпьем за торжество правды, от документа идущей! (Берет из-под елки бутылку с шампанским, наливает два бокала, один подает Сперанскому.) И еще слушай, Михал Михалыч. Ты у колыбели моего воспоминания на трон стоял, тебе истинно доверяю. На Бенкендорфа плюнь. Будь мягок в допросном деле, будь с философом философ, с пиятом — пият. Александру Христофорычу сие недоступно, а ты допрашивай по-просветительски. Ты ведь человек одного с ними ума и чаяний. Иные из них играют в благородство, готовы выбелить других и показать более всего на себя. Так вот, собери десять таких показаний и дай прочитать однаждатому. Подскажи ему, что не грех показать на тех, кто уже сам во всем признался. Он и покажет. А ты его показание тем десятерым представь, чтоб они признали в нем истинного предателя. Да чисел календарных пусть нигде не проставляют, потом сами впишем. Двум судам их предать хочу: мой суд станет судить их за преступление перед государством, суд потомков — за то, что, крича о святом деле, они сами не были святы в дружбе и любви друг к другу. Значит, и святое дело в грязных руках оказалось. Но документа о сем нашем разговоре оставаться не должно. Я ведь моложе тебя, Михал Михалыч. В случае че-

го и пережить тебя могу по молодости лет, дабы заглянуть в твой личный архив. Не забывай об этом. Не притомился ли?

Сперанский. Нет-нет, государь. Готов к выполнению своего высокого долга.

Николай (целует его). Твори правосудие, Михал Михалыч. Я еще зайду к тебе. (Выходит.)

Сперанский один. Мечется как загнанный зверь. Кусает себя за руку. Долго и — видно по нему — до боли. Затем допивает из бокала шампанское и оправляет свечи в канделябрах.

Сперанский (кричит). Подполковника Горина!

Гремя ножными кандалами, входит Горин. Останавливается перед Сперанским.

(Сидит за столом, перебирая бумаги). Вот странность, Михал Сергеич, как нам с вами разговор наш продолжить довелось.

Горин (усмехнувшись). Воистину при других обстоятельствах. Но не разговор, а заговор, Михал Михалыч.

Сперанский. В вашем заговоре я не участник. Разговор про меж нас был исключительно прожектерский.

Горин. Позвольте присесть?

Сперанский. Извините, Михал Сергеич, не положено. Впрочем, ежели вам угодно что-либо собственноручно изложить по интересующему комиссию делу, тогда — прошу! Ну-с? Что же вы?

Горин. Я постою, ваше превосходительство.

Сперанский. Не притомились ли, стоячи на Петровской? Я бы вам не советовал продолжать сего стояния.

Горин. На чем стоял, на том стою, Михал Михалыч. И буду стоять.

Сперанский. Тогда позвольте по форме. (Придвигает к себе чистый лист, берет перо.) Как ваше имя и отчество и сколько от роду лет?

Горин. Михаил Сергеев сын Горин, от роду сорок три года.

Сперанский. Какого вы вероисповедания и ежегодно ли бываете на исповеди и у святого причастия?

Горин. Греко-российского исповедания. На исповеди и у святого причастия не бывал. Ежегодно.

Сперанский. Присягали ли на верность подданства ныне царствующему государю-императору?

Горин (усмехнувшись). Присягал. Декабря четырнадцатого дня на площади перед Сенатом.

Сперанский (с укоризной). Михал Сергеич!.. (Покачав головой, продолжает допрос.) В каких предметах старались вы наиболее усовершенствоваться?

Горин. В политических.

Сперанский. С какого времени и откуда заимствовали вы свободный образ мыслей, то есть от сообщества или внушений других или от чтения книг или сочинений в рукописях и каких именно? Кто способствовал укоренению в вас сих мыслей?

Горин. Свободный образ мыслей образовался во мне с тех пор, как я начал мыслить. К укоренению же оного способствовал естественный рассудок и сочинения профессора Сперанского.

Пауза.

Сперанский. Кого из членов тайного сообщества назвать можете?

Горин. Михаила Сергеева сына Горина, от роду сорока трех лет, греко-российского исповедания, на исповеди и у святого причастия не бывшего. Ежегодно.

Сперанский. А еще?

Горин. Почитаю сие противным совести и чести.

Сперанский. Не пойму вашей мальчишеской пылкости, Михал Сергеич. Неужто вы полагаете совесть и честь Кондратия Федоровича Рылеева ниже своей?

Горин. Полагаю не ниже, но выше моей!

Сперанский. Тогда извольте пробежаться глазами по этим листкам, что Кондратий Федорович прислал в комиссию. Вы знаете его руку. Сам был подозреваем в покушении на цареубийство, но показал на Каховского.

Горин (жадно пробегая листы). Поверили! Поверили государю! Писано с жаром и честностью истинно рылеевскими. Бедный

Кондратий! Не захотел присваивать себе славы и подвига Каховского. Коли не оставить иных документов — увы,— сей документ станет правдой жизни.

Сперанский. Вы разгромлены, Михал Сергеич, и отпирательства ваши бессмысленны.

Горин. Да. Но разгром наш не от артиллерии Сухозапета произошел, а оттого, что в прокурорском кресле оказались вы — человек единого с нами ума и сердечного пламени.

Сперанский. И просветителям порой должно схватиться за меч, дабы оградить порядок от беспорядка.

Горин. Михал Михалыч, вспомните ваши слова о том, что вы не воин.

Сперанский. Неужели, сударь мой, вы могли предположить, что тот наш разговор прошел для меня бесследно? Что я не думал о нем? Ну, хорошо: сделали бы мы с вами революцию, освободили бы крестьян. Но освобожденный крестьянин захочет стать господином, ибо увидит, что истинная воля — воля распоряжаться судьбами других, сиречь власть,— осталась в наших руках. Он и кинется на нас с вилами, дабы испить до конца напиток же предложенный ему напиток свободы.

Горин. В нашем правлении было место и для крестьянского представителя.

Сперанский. Неужто вы полагаете, что он представлял бы словие, не строя собственных выгод от своего положения? О сударь! Через год ваш крестьянский представитель мужику и руки бы не подал. Мужик и на него с вилами полез бы. Нет-нет, бунтарское дело только начни! Коли один бунт удался, почему бы не удастся другому? И пойдет вертеться кровавое колесо! Вот почему я почел для себя возможным схватиться за оградительный меч.

Горин. Не за меч, Михал Михалыч, не за меч. За кнут, хотели вы сказать. Дабы высечь трех муз, коим вы еще вчера поклонялись: Свободу, Равенство и Братство.

Сперанский (*начиная раздражаться*). Свобода, Равенство, Братство!.. Все эти три новоявленные музы господствуют у

нас, и давно. В домах для умалищенных! Там все свободны от условностей общества, все равны перед лекарем и все братья промеж себя — если не по уму, то по отсутствию оного. Не того ли вы добивались для всей России?

Горин. Михал Михалыч, где же ваши демократические убежденности?

Сперанский. Я убежден, что царское правление для нас полезно. И вот моя убежденность соответствует истине уже несколько веков. Значит, это убежденность многих людей. А убежденность многих людей — сие и есть демократическая убежденность.

Горин. Эк вам приходится блудить словами, чтоб оправдать ваше прокурорство! Жаль мне вас. Паче, чем Кондратия Рылеева, жаль. А правда ли, что полковник Пестель пытан был сжатием головы железными обручами?

Сперанский (*глухо*). То правда.

Горин. А правда ли, что Яков Михалыч Булатов голову себе до смерти разбил об стену каземата, дабы не показать под пыткой па друзей своих?

Сперанский (*крестится*). Мир праху его! И то правда.

Горин. Да как же вы можете в таком деле... вы, просветитель российский?

Сперанский. Просветительство наше к тронам должно обращать, дабы само правление было просвещенным. Вниз его обращать так же бессмысленно, как пытаться окрылить каменья.

Горин. Это не вы говорите со мной, Михал Михалыч. Через вас прокурорское кресло со мной разговаривает. Да хорошо ли вам спится, профессор Сперанский?

Сперанский. Вам откроюсь. Криком кричу во сне, даже в комнатах дочери слышлю. Все снятся свечи допросные и глаза узников. К телесным пыткам я не причастен, по полагаю в новой должности своей служение отечству.

Горин. Да-да, вы правы, Александр Христофорыч.

Сперанский. Вы обознались, подполковник: я не Бенкендорф!

Горин. Неужто? Что-то с глазами стряслось.

Сперанский. Спя шутка не к месту.

Горин. Почему же не к месту? В другом месте она и на ум бы не пришла.

Сперанский. Извольте замолчать, сударь! Не думайте, что у вас одного имеется честь!

Горин. Ваша честь любимой мозолью выпла, а я на нее наступил, да еще ногами в железах. Больно, понимаю.

Сперанский. Сударь!

Горин. Ба! Опять что-то с глазами! Фрак-то на вас голубеть начал и орленьи пуговицы простутили. А не снится ли вам генерал-адъютантский мундир? Новенький, под мышками режет, оттого и кричите по ночам?

Сперанский. Молчать, молчать, молчать!.. (В беспамятстве заносит руку над Гориным.)

Появляется Николай.

Николай. Опомнись, Михал Михалыч! Ступай простины!

Сперанский. Извините, государь! (В поклоне кладет руку на сердце.)

Николай. Перед несчастным, что в цепях перед тобой стоит, прощения проси.

Сперанский (Горину). Извините-с. (Выходит, так и не сняв руки с сердца.)

Горин (обворачивается к Николаю). Сир!..

Николай. Вы англоман?

Горин. Сир!..

Николай. Говорите по-русски. Когда ваш государь говорит по-русски, следует говорить по-русски.

Горин. Вы правы, государь: для допроса язык наш оказался самым совершенным. К примеру, как перевести на английский язык наше «была не была»? Только как «быть или не быть», а это сильно исказило бы смысл. Кроме того, в Англии меня называли бы просто «такой-то из оппозиции», в отечестве же я — государственный преступник. Полное несоответствие понятий затруднило бы наш разговор по-английски.

Николай. Вы еще можете шутействовать, сударь?! Ваше дело очень серьезно!

Горин. Я всегда почитал свое дело очень серьезным, государь. И дело и свои политические убеждения.

Николай (презрительно). Политические убеждения!.. «В Париже ходили к девочкам, завтра пойдем на медведя»! Так вы, кажется, изволили говорить тринадцатого декабря? И это вы величаете «политическими убеждениями»? Одно бретерство!

Горин. Давно ли за бретерство стали хватать людей?

Николай. Бретерство и цареубийство. Под «медведем» вы подразумевали особу императора. Но этот медведь, к счастью, успел выпустить когти.

Горин. К счастью для кого, ваше величество?

Николай. Не для вас, разумеется. И вы серьезно думаете, что Россия может обойтись без самодержавия?

Горин. Думаю, государь.

Николай. А я думаю иначе.

Горин. Воля ваша!

Николай. Воистину так. Моя воля, подполковник! Всё в моих руках. Я могу простить вас, героя двенадцатого года. И если бы мог увериться в том, что впредь буду иметь в вас верного слугу, то простили бы.

Горин. Ваше величество! В том-то и несчастье, что вы все можете сделать, что вы выше закона. Желаю, чтобы впредь жребий ваших подданных зависел от закона, а не от вашей угодности, ваших капризов или минутных настроений.

Николай. Садитесь и пишите!

Горин (усмехнувшись). В каком роде вашему величеству угодно, чтобы я писал? Одни сочинения сообщают мысли, другие заставляют мыслить.

Николай. Мне надобны имена.

Горин. В таком случае вы ошиблись, государь: вам надлежит пригласить подпоручика Ростовцева. Я же считаю этот род литературы низким.

Николай. Вы не приглашены, подполковник, вы арестованы. Вам бы с Кондратия Рылеева следовало пример взять.

Горин. Не к вашей славе, государь, что вы хотите обернуть доносом честность Рылеева. Кондратий Федорович по чистоте душевной не мог взять на одного себя столь высокое дело, как наше. Потому и назвал людей, коих почитал впереди себя.

Николай. К той же честности я зову и вас, подполковник.

Горин. Пример можно брать с равных себе. Кондратий же Федорович выше нас: он — мученик правды.

Николай. Своей дерзостью вы усугубляете вашу вину. Но я все-таки заставлю вас поработать пером.

Горин. Ни в коем случае! Я всегда полагал, что в России есть два проводника: язык до Киева, а перо до Шлиссельбурга.

Николай (*кричит*). Шлиссельбург? Крепость? Каторга?.. Мало, мало! Знаете ли вы, чего заслуживаете?

Горин. Судя по вашему тону — смерти, государь.

Николай. Вы думаете, что вас расстреляют, что вы будете интересны? Я вас вздерну! Вы войдете в историю с головой набок, если вообще войдете в нее! Вы, господа умники, забыли, что мир разделен на тех, кто убивает, и на тех, кого убивают. Третьих нет! Выгорело бы ваше дело — вы бы меня... со всей семьей!.. Страшно подумать. Но теперь я вас буду убивать. Вы сами меня вынудили к этому!

Горин. Воистину, государь, мы были несправедливы.

Николай (*подходит к нему вплотную, берет за плечи*). Назовешь самых отъявленных злодеев, которые на меня замышляли? Назовешь? Все прощу, даже твою дерзость.

Горин. Вы меня не поняли, ваше величество! Мы были не справедливы в одном: мы кричали о свободе народа и совершили ущупли из виду свободу власти. Свободно ли наше правительство? О нет! Вы, государь, вынуждены убивать. Не хотели бы, а вынуждены. Как жаль, что вы так несвободны!

Николай. Я устраняю сарказм из ваших слов, подполковник. Я чувствую в них горечь. Истинную горечь! Как бы я хотел коснуться вашей души, заглянуть в ваше духовное нутро.

Горин. Мой внутренний мир, или, как вам угодно было выражаться, мое «духовное нутро», есть не что иное, как суверен-

ное государство. У него есть границы — моя оболочка: лицо, кожа, мундир, паконец. Когда вы, ваше величество, пытаетесь влезть ко мне в душу, вы тем самым нарушаете мой внутренний суверенитет. И, значит, я могу, имею право объявить вам войну. Благородную, оборонительную войну. И я ее объявляю!

Николай (*грубо*). Ты плохо сведущ в дипломатии, подполковник. Коли государство объявило мне войну, его границы перестают быть неприкосновенными. Все зависит уже от моей силы. У тебя есть границы, говоришь? Лицо, кожа, мундир? Мундира я тебя лишу. Кожу и содрать можно. Лицо?.. У заключенных Алексеевского равелина лица нет. Вспомни о патриотизме, подполковник!

Горин. Вы имеете в виду, ваше величество, безликий патриотизм с содрапкой кожей?

Николай. Черт вас догадал на Петровскую площадь выскоочить! Сидели бы в своих поместьях да и размышляли о свободе отечества, уж коли такая мода пошла. Голов не опечатаешь! Чего вам предоставало? Ну, апекдотики бы обо мне шептали друг другу, не запретишь! А вы...

Горин. Мы не шептуны, ваше величество. Но не только мы, вы тоже изволите размышлять об отечестве. Беда в том, что одна из размышляющих сторон должна погибнуть в силу размышлений другой. Вещественное продолжение наших мыслей об отечестве — Петровская площадь. Вещественное продолжение ваших мыслей об отечестве — обещанная мне веревка.

Николай. Видит бог, ты ее получишь! А жаль: с твоим умом и талантом мог бы стать государственным мужем. И преуспевающим.

Горин. С светским остроумием и туповатостью в России можно стать государственным мужем. И преуспевающим. С умом и талантом — только революционистом, только смертником.

Николай (*подносит к лицу Горина свечу*). Черные глаза! Как я мог проглядеть! Уж веревке-то ты покоришься!

Горин. Вы полагаете, что голова висельника склоняется так

(показывает) от покорности веревке? Ах нет! Она склоняется так потому, что впизу много слушателей. Виселица высока, государь, а мертвые уста порой умеют говорить паче живых. Живые-то вы можете заткнуть, заглушить. А мертвые — сие не в вашей, даже монаршей, власти. Мертвыми устами я буду проповедовать свободу. И мертвые кулаки мои вам не разжать: они закостенеют в угрозе. А мое мертвое тело будет раскачиваться, как язык пабата. И гром будет стоять в ушах людей от моего качания.

Николай. Молчать! В истории государства моего и у колоколов языки вырывали!

Горин. Да, государь, и тогда наступала тишина паче грома.

Николай (некоторое время ходит, сдерживая себя, потом останавливается перед Гориным). Не тебя мне жаль, подполковник, себя жаль. Что судьба дурно распорядилась нашими с тобой отношениями: могла бы подарить мне такого друга, как ты, а она ко мне врага привела. Горько мне оттого, пожалуйста. Ну да супротив промысла не пойдешь. Исполни мою просьбу: покажи в своем дознании на тех лиц, которые уже на себя показали. Ну, там, на Рылеева... Арбузова... тебе пришлют. Не скрою: этим ты себе не облегчишь, но мне поможешь в упорядочении дел.

Горин. Показать на тех, кто уже припался, не почитаю уроном для своей чести. Хотя не вижу в том и вашей выгоды, государь.

Николай. Я же тебе сказал: для упорядочения дел в комиссии, и только. Ступай с богом! Не я, он тебе судья. А мои вспышки извини, мне тоже нелегко.

Поклонившись, Горин выходит. Все еще держась за сердце, выходит Сперанский.

(Глядя вслед ушедшему Горину.) А ведь казался из самых умеренных. (Сперанскому.) Генералу Сукину отпиши, чтоб держал круто, цепей не снимать. Кто там еще?

Сперанский. Князь Петр Оленский, государь. Он по моему списку идет.

Николай. Тебе отдохнуть должно, Михал Михалыч. Вишь, за сердце схватился! Я сегодня побуду за тебя, не спорь. Мне таких людей, как ты, беречь да беречь! Пригласи Оленского. Да перед тем, как домой отъехать, распорядись, чтоб послали за графиней Черемисовой: у них, сказывают, с князем Оленским любовь. (Вздыхает.) И узник не без рождественского подарка должен остаться.

Сперанский. Господь воздаст вам за благородство души вашей, государь. Я распоряжусь. (Выходит.)

Входит Оленский.

Николай (подносит к его глазам свечу). Слава богу!

Оленский. Что «слава богу», ваше величество?

Николай. Глаза у тебя не черные. (Ставит свечу на стол.)

Оленский. Нет, не черные. Глаза у меня в матушку, голубые.

А порой бывают синие.

Николай (закрывает лицо руками). Господи, тяжесть-то какая навалилась! Друзей, друзей пытать допросами! Словно с врагами лютыми разговаривать! Это нестерпимо, князь. Да ты сядь, сядь. (Усадживает его в кресло, смотрит на закованые ноги Оленского.) Да что они там, с ума посходили? Эй, кто там!

Вбегает Сперанский, уже в шинели.

(Смотрит на него сурово, показывает на ноги Оленского.) Позор, ваше превосходительство! Не было ни суда, ни приговора, а вы чините моим подданным боль и неудобства. Снять!

Сперанский хлопает в ладоши, появляется жандарм. Вдвоем со Сперанским они снимают с Оленского кандалы, выходят.

Прости их, князь: сколько ночей уже не спят. Да и меня прости, если можешь.

Оленский. Мне? Вас, ваше величество? Вы по-своему правы были.

Николай. Нет, князь, не прав. Знаю, что не прав. Страх и злоба ум мне помутили. Да удобно ли тебе в этих креслах? А то, может, хочешь прилечь, так я веду софу принести.

Оленский (*кричит*). Государь! Как вы со мной разговариваете? Не надо, прошу вас! Лучше ударьте!

Николай. За что, князь? За то, что праведно поступил? За то, что хотел блага отечеству своему? За это быть? Господь с тобой! Но что вы со мной сделали, господа? В первый же день моего царствования оставили меня в кругу солдафонов, неучей. Ведь, кроме как со Сперанским, не с кем и словом перемолвиться. Все, все лучшие люди стояли против меня на Петровской! Вот что непереносимо. За что? Я ведь еще и не начал, а вы поторопились. Я сам конституцию хотел дать.

Оленский. Этo правда, государь?

Николай. Посуди, зачем же мне говорить тебе неправду в нашем с тобой положении? А вы-то, вы-то, революционисты! Вовлекли в свое дело солдат и даже не потрудились объяснить им, что такое конституция. Я тут с нижними чинами беседовал, так они, оказывается, были уверены, что конституция — это жена моего брата Константина. А?

Оленский. Сие анекдот, государь: солдаты многое знали от своих офицеров.

Николай. Зачем же эти офицеры не пришли ко мне? Зачем же сразу на Петровскую? Вы полагали, что мне чужды прекрасные понятия, что состояние моей души рознится с вашим, когда я вижу слезы народные, и нищету повсеместную, и скорбь от нищеты людской? (*Прикладывает к глазам платок*.)

Оленский. Вы плачете, государь?

Николай. Так ведь и ты, князь! Не угодно ли мой платок? (*Утесывает глаза, сует платок Оленскому*.) Бери, бери. Солдафоныто, поди, и платок отняли. Воинству изверги! Хочешь шампанского? (*Наливает бокал*.)

Оленский. Нет-нет. Не надо.

Николай. Боишься, язык развязет? Так ведь я ни о чем и спрашивать не буду. Разве у нас с тобой допрос? Беседа,

князь! Просто я вдруг представил себе, что ты сам ко мне пришел еще до Петровской. На, выпей! Я и сам отопью. (*Сделав глоток, подает бокал Оленскому*.)

Тот пьет.

А теперь — пиши!

Оленский (*вскочив*). Государь! Я дал клятву.

Николай (*усаживает его, подает перо, бумагу*). Пиши, пиши!

Я ничего дурного делать тебя не заставлю. К матушке пиши.

Оленский. К матушке?

Николай. А ты полагал, что я тебя заставлю имена сообщников писать?

Оленский. Да, государь.

Николай. Воистину дурно ты обо мне мыслишь. Пиши... пиши просто, без лукавства... с материалами не след лукавить, князь.

Ну? Приготовился?.. Слухи-то быстры курьерских летят, поди, опа уже все знает, измаялась... Пиши: «Государь стоит возле меня и велит написать, что я буду жив и здоров». Написал? Дай-ка!.. Вот видишь, пропуск сделал: «буду» пропустил. А для матушки это важно. На-ка вот, припиши сверху: «буду». Ну вот! Сегодня же и отправим. (*Прячет записку в нагрудный карман*.) Скажи, князь... Нескромный вопрос: как и задать-то его!

Оленский. Государь, я отвечать не стану.

Николай (*в своих мыслях*). Что?.. Да я не о том, не волнуйся.

Матушка твоя в деньгах нуждается, а? Крепостным-то, поди, вольную дал?

Оленский. Да. Но, к стыду своему, не всем. Правда, иные сами не захотели.

Николай. Вот видишь! А ведь и это у меня в планах было. «Крепостники»! Один позор перед Европой. Так если я к твоей записке денег приложу, матушка не в обиде будет?

Оленский. Не надо, государь! Милости ваши чрезмерны, право. Я ведь такое натворил.

Николай. Натворил, натворил. Ну, да покаянной головы меч не сечет.

Оленский. Я не каюсь, государь. А пу как на вашем месте оказался бы другой, изверг и тиран?

Николай. Тогда, князь, я и сам бы в тайное общество. Верь мне! Тирания противна душе моей так же, как и твоей.

Оленский. Государь! Ваш тон разговора со мной — не шелковые ли то сети?

Пауза.

Николай. Хочешь откровенно?

Оленский. Я спросил, государь. Воля ваша — отвечать или нет.

Николай. Ты умен. Это и хорошо и плохо.

Оленский. Что же плохого в том, что я умен?

Николай. Плохо, что я могу потерять тебя. Тяжко терять умных людей в таком государстве, как наше. Шелковые сети, говоришь? Мягкий манер в допросном деле? Может быть, ты и прав. Буду с тобой до конца откровенен: вижу, с тобой иначе нельзя. Да ты что дрожишь?

Оленский. Зябко.

Николай (кричит). Шаль!

Вбегает жандарм с шалью. Николай берет ее, заботливо укутывает Оленского.

Ты прав, князь, я прикинулся, что добр к тебе. Но посуди сам: как можно быть добрым к своему палачу?

Оленский. Это я ваш палач?

Николай. Ну не ты, Пестель.

Оленский. Государь!

Николай. Знаю, как он на счетах подсчитывал, кого убить из моей семьи. На счетах, князь! Под его пальцами головы наши стучали. Тринадцать голов вышло, с детьми вместе. Ну да эта чертова дюжина против него и обернулась. Я еще могу понять, за что меня: меня вы узурпатором власти почитали. А детей за что? У тебя воображение, князь. Представь, как сталь входит в горлышко моего Сашки. Кожица нежная, в синих прожилках, а ты его, как курчонка...

Оленский. Государь, пропути вас, это невыносимо!

Николай. Я — узурпатор! А Пестель не глядит в этом деле узурпатором и палачом? С чего царствование свое хотел начать? С крови! С крови детей!

Оленский. Мы не переступили крови, государь.

Николай. Но хотели! Могу прочитать тебе из признания полковника Пестеля. (Берет со стола бумагу, читает.) «Главное и первоначальное действие было — открытие революции посредством возмущения в войсках и упразднения престола. Должно было заставить синод и сенат объявить временноеправление с властью неограниченную»... (Отрывается от бумаги, Оленскому.) «Неограниченную», сиречь — самодержавную?

Оленский. Да, если угодно, самодержавно.

Николай. А самодержец кто? Молчишь? Я тебе скажу: он же, Павел Иванович Пестель, Павел Второй! Что ж ты, князь, а? На одно самодержавие занес меч ради другого? Так, что ли? Жаль мне тебя. Ты что заяц промеж двух охотников. И еще прочту тебе (читает): «Мы понимали, что, совершив цареубийство, вооружим против себя всю Россию. Посему и решили принять меры. Избранные к цареубийству должны были находиться вне Общества. Когда сделают они свое дело, Общество немедленно казнит их смертию с оглаской, как бы отмщая за жизнь царской фамилии, и тем самым отклопит от себя всякое подозрение в участии. Нам надобно было быть чистыми от крови. Нанося удар, мы хотели сломать кинжал». Вот видишь: своих рук ему жалко было, чужие хотел преступлением замарать. Ты на меня шел, как на тирана и лицемера, а тиран и лицемер сзади тебя стоял, шагами твоими руководил. А что бы вышло? Династия Пестелей, и все. Чем Романовы хуже?

Оленский. Я не разделял взглядов Пестеля. Но он не хотел власти себе. Он мечтал о парламентском правлении без царя.

Николай. А вы бы смогли объяснить мужику, что такое парламент? «Парламент» — сложно для мужицкой головы, князь. «Царь-батюшка» — это просто, это от прапушков. За царя и

помолиться можно и поругать его, коли что не так. Вон даже Пугачева народ в цари произвел. От привычки, от страха оставаться без того, кто за все ответ должен нести. А народ не любит отвечать, ему проще в пятьдесят миллионов глоток «ура» крикнуть.

Оленикий. Он может крикнуть и «долой» в те же пятьдесят миллионов глоток.

Николай. За «долой», князь, отвечать должно. А может статья, и головы на плаху класть. Нет, «ура» куда как проще. Может быть, ты полагаешь, что я самонадеян? Что я, Николай Павлович Романов, как я есть, надобен народу? Народу все равно, что за голова под коропой. Он короне кланяется, а не голове. И никому не позволит отнять у него то, что он предназначил для поклонов, членов, а порой и проклятий, Пестель это прекрасно понимал. Парламент — отговорка для таких чистых душ, как ты, князь. Потому и царскую семью под корень, чтоб новый корень начать, Пестелев. Сперва, может, и поигрался бы в парламент, а потом — корону на голову и всех вас в кулак! А я не дал.

Оленикий. Самы предпочтли, ваше величество, пас в кулаке захват?

Николай. Мой-то кулак помягче, чем Пестелев, верь мне. А все революции, князь, от зависти пропастекают: у меня нет, у тебя есть, мне завидно, дай-ка я твое захвачу. Вот и революция. Так почему же, князь, я должен быть добр к тебе, коли ты был с теми, кто мое хотел захватить? Вы на меня с топором, а я вас по головке?

Оленикий. Россия не ваша собственность, государь. Мы хотели, чтоб вы не были безграничны в своей воле. Мы зажгли себя, как свечи, чтоб от России отступила тьма произвола.

Николай. Человека можно зажечь, как свечу. Но ведь и погасить можно. (Дует на одну из свечей, та гаснет.) Как просто, а? Тем более что ограничить меня в моей воле вам не удалось. Знаешь, в чем твое обвинение?

Оленикий. Я бунтовал, ваше величество. В мыслях и делах: стоял со всеми на Петровской площади.

Николай. Ты убил графа Милорадовича. Ты давеча обманул меня, что не переступил крови. Видели, как ты штык тащил из графа, когда он упал с лошади.

Оленикий закрывает лицо руками.

Доктор Габерннак осматривал его после смерти. (*Отводят руки князя от лица его, показывает на себе.*) Вот здесь рана была от штыка. И преглубокая. Но прощу! Милорадовича прощу, коли скажешь, кому кинжал для меня и моих детей вручен был. Без тебя ведь не обошлось собрание тринацатого декабря у Рылеева?

Оленикий. Не обошлось.

Николай. А там и наметили цареубийцу. Пестелевы планы о чужих руках в сем деле планами и остались: цареубийцы в самом Обществе нашлись. Не могу поверить, чтоб то был Каховский.

Оленикий. (ескочив). Государь!!!

Николай. Сиди, сиди. Кто выдал? Рылеев. Но я не верю ему: у него лихорадка, да и дочь малолетняя, Настенька. Может, себя выгородить хотел ради Настеньки? Могу попять, сам отец. А может, с бреду нес? А?.. Нет, не верю.

Оленикий (глухо). Не верьте, государь.

Николай. А Рылеев поддался. Мы с ним тоже слезы тут смирили: поплакали о судьбах государства Российского. Он и стал пласти, словно мешок с ядом прорвало. А?.. (Деревянно смеется, глядя на Оленикого.)

Оленикий не в силах оторвать свой взгляд от глаз Николая, тоже начинает хохотать. Это истерика. Николай, смеясь, наливает в бокал шампанского, подает князю, тот пьет, лязгая зубами по краю бокала.

Вот видишь! Кабы не его лихорадка, не стал бы и поверять. А то вдруг как невинный человек пострадает? Ты умен, ты мое лицедейство почти сразу проник, так неужели ты не в силах понять, что вы разбиты? Теперь главное, чтоб в капле

не пострадали невинные. А Милорадовича — прошу! (Присев на подлокотник кресла, гладит князя по голове.)

Оленский (еще всхлипывает от смеха). Я на вас с топором, а вы меня по головке гладите?

Николай. Ты мне воистину нравишься, тебя охотно спасу, коли откроешь имя цареубийцы. Ты знаешь.

Оленский. Нет.

Николай. Не дури, князь.

Оленский. Вы меня что лошадь оглаживаете.

Николай. С лошадьми куда как легче: шамбельер — и все.

Оленский. А тут хитрить надо.

Николай. Да разве тебя хитростью возьмешь?

Оленский. Пытать будете?

Николай. Прости, князь, буду.

Оленский. Вы хотите начать свое царствование тем, что отменили еще Елизавета Петровна и Екатерина Вторая?

Николай. Власть-то у них была та же, что у меня. Они отменили, я вменю. Да что от тебя таиться: Пестелю позавчера обручами железными голову сжимали. Я вышел, смотреть не мог. Мне бы ликовать, а у меня ком в горле — жалость.

Оленский (хрипло). Кричал он?

Николай. Кричал ли? Не помню. Во мне все кричало, все противилось сей жестокости. Молю тебя, князь, не дай перейти мне рубеж человечности, не дай поступить с тобой так же!

Оленский (кричит, вжавшись в кресло). Государь! Вы уже распорядились обо мне?

Николай. Не кричи, князь, не кричи, все еще можно поправить.

Оленский. Все помыслы наши только о России, о судьбах ее, ничего для себя ради! За что же так с нами?

Николай. Петр Оленский, Петр Каховский! Не мните себя Петрами Великими!

Оленский (справляясь со своим страхом). Но Петров на Руси много, государь. Не есть ли они в совокупности истинный Петр Великий?

Николай. Безумное несешь, князь, и слушать не хочу. Вы, гос-

пода, вообразили себя врачевателями России. А Россия совершенно не больна.

Оленский. То с виду, ваше величество. И мы не врачи, земли нашей, мы — ее тайная боль. А вы хотите к боли каленым железом... Земля вскрикнуть может!

Николай. У моих пушек голос погромче. Перекричу!

Входит Элиз.

(Увидев ее, стремительно к ней направляется.) Сударыня! Подвиньте его к благородному. (Выходит.)

Оленский сидит, закрыв глаза руками. Элиз тихо подходит к нему, становится на колени, отнимает руки Оленского от его лица. Долго смотрит ему в глаза.

Элиз. Князь, он украл у тебя из глаз счастье, одну обреченность оставил.

Оленский. Он хочет меня пытать, Элиз.

Элиз. Господь с тобой! Нынче век просвещенный.

Оленский. Пестеля уже пытали железом. Рылеев пытки добротой не выдержал. Перед добротой я устоял, он железом гроется. Теперь я понял, откуда во мне зябкость началась: от глаз его добрых. Когда он входит в комнату, ртуть в градусниках опускается. Это он за тобой послал?

Элиз. Он.

Оленский. Теплотой твоих рук подвинуть меня к предательству!

Элиз отдергивает руку, которой гладила Оленского по щеке.

Я уж со всеми простился: и с матушкой, и с тобой... А тут... (Жадно хватает ее руки, прижимает к губам, к лицу.) Большой пытки он не мог придумать. Элиз! Твоими руками он меня к воле манил... Покажи на друзей, открои имена — и вот оно, блаженство... Близко, совсем близко, твоим дыханием меня касается... Как устоять?.. Уйди, Элиз! Сей пытки я не выдержу! (Обнимает ее.)

Элиз. Да ведь ты сам не пускаешь меня!

Оленикий. А ты вырвись! Я буду держать крепко, я схватился за тебя! А ты — обругай, вырвись! Молю тебя, как об милости!

Элиз. Не могу, родной мой, не могу. Не было в моей жизни минуты счастливее этой. Ты сам оттолкни! Я прощу, я понимаю, я все понимаю!

Оленикий. Неужто в тебе нет на меня злобы? Я ведь сам, своими руками разрушил все наши с тобой возможности. Пусть злоба пропустит у тебя в лице, обвини меня. Я преступник и перед тобой, Элиз!

Элиз. Все лучшее из меня сейчас рвется: из рук — ласка, из глаз — радость, что гляжу на тебя, а в лице для тебя красота пропадает. Зажмурься, князь, ослеплю!

Оленикий. Элиз, лучше обручи на голову, лучше каленое железо...

Элиз. Нет, мой милый, нет, лучше я, лучше я!

Оленикий. Элиз! Это предательство!..

Элиз. Прости, я и не понимаю, что говорю. Прости!

Оленикий. Он винит меня в смерти Милорадовича. Не я убил графа!

Элиз. Так откройся в том.

Оленикий. Нельзя! Тогда надо открыть, кто убил. Милорадович уж мертвый упал с лошади ко мне на штык. От пули Каховского мертвый. А Каховский путь в себе открывал для цареубийства. Произнести одно только слово «Каховский» — и воля!.. Я ведь с ним и не дружил никогда... Он был страшен и недобр...

Элиз (вырываясь от Олениского). Князь! Давай опомнимся.

Оленикий. Прости! (Обессиленный, откидывается в кресле.)

Элиз. Князь, тебя не переселили? Ты сидишь в Петропавловской, в двенадцатом покое?

Оленикий. Пока там. Куда после пытки — не знаю. И выдержу ли?

Элиз. Нельзя, нельзя, нельзя! Ты слышишь? Нельзя!.. Скажи гондолью, что подумаешь, время потяни. Я уж говорилась с унтер-офицером, что следит за тобой. Он ждет, когда я звак

подам. Это счастье, что государь свел нас сегодня. Завтра ввечеру, после обхода казематов, твой надзиратель тебя выведет как бы для прогулки и уж за крепостью спрячет в дровах. Затем запрет казематы и ключ отнесет плац-адъютанту. Постель надо будет приготовить и так взвить одеяло, чтоб часовому казалось, что ты спишь. Потом надзиратель вернется к тебе с теплой шинелью и отведет тебя в известное ему место. Там будут ждать лошади: на Литву есть не только прямые дороги! На всем пути я уже оплатила свежие подставы. Надзиратель поедет с тобой, ему спаче невозможно. Он говорит, что раньше девяти утра и не хватается, а к этому времени вы будете уже далеко. И ты и он измените себе лица. А я сегодня же отъеду на Литву, у меня все готово, только надо было свидеться с тобой. Ну, что скажешь?

Оленикий. Еще ведь и паспорта особые надобны для заграницы.

Элиз достает из ридикюля три паспорта, один из них подает Оленикову. Тот берет, рассматривает.

Со всеми печатями, только имена вымышленные проставить да приметы фальшивые описать. Как тебе удалось?

Элиз. У князя Горчакова. Он как раз четырнадцатого декабря вернулся из Лондона. Он добр и тайно всем вам сочувствует, так что мне и труда не составило уговорить его. Князь! Свою волю, свое счастье в руках держишь. Все пытки разом кончатся. (Протягивает руку за паспортом.)

Оленикий. Да. Поклонись Горчакову, поблагодари его. (Рвет свой паспорт.)

Элиз (кричит). Что ты наделал! Князь! Это романтическое безумство!

Оленикий. Прости, Элиз, я давеча ослабел, чуть было не стал виноват перед Каховским. Бежать, а они тут останутся? Разве у нас с тобой счастье будет, воля? Совесть за мной, что конвой, станет ходить. Такая воля хуже Алексеевского равелина окажется! А что ты озлилась на меня — это славно.

В злобе на меня и уйди отсюда, так легче будет и тебе и мне.

Элиз. Нет! Нет! Тогда я тебя отпустила, теперь не отпущу! Упаду в ноги государю, пусть обвенчает нас в крепостной церкви. Ты ведь мне не дворянин, не адъютант или будущий генерал, ты мне человек, которого люблю! Я тебя всякого беру — нищего, увечного от пыток, некрасивого — только бы тебя, князь! По тракту погонят — пойду рядом, вместе, в одних железах...

Стремительно входит Николай в сопровождении двух жандармов. Идет на Оленского и Элиз.

Николай (громко). Смерть убийце Милорадовича!

Элиз (в ужасе загораживает собой Оленского). Нет, это не он, государь! Это Каховский убил! (Зажимает себе рот.)

Оленский. Элиз!!!

Николай (жест на Оленского). Увести!

Жандармы хватают Оленского, он сопротивляется. Николай стремительно идет на Элиз, заставляя ее отступать.

Все знаешь, все знаешь! А штык? А штык?..

Элиз. Граф уж мертвый от пули Каховского упал на штык!
Оленский. Элиз, прокляну!

Жандармы его уволакивают.

Николай (не замедляя шага, гоняет Элиз по кабинету). Он же, Каховский, и на меня замышлял?

Элиз. Ваше величество, я не могу...

Николай. Отвечайте, сударыня! (Запосит руку.)

Элиз. Государь!

Николай (не останавливаясь). Извольте отвечать! Немедля! Я велю вам!

Элиз (отступая). Убив Милорадовича, Каховский открывал в себе путь к цареубийству... Государь! (Падает ему в ноги.) Что вы сделали со мной?!

Николай (вытирая платком руки). Я? Я с вами сделал? Вы низки, сударыня! Князь Оленский, чистая душа, открылся вам, а вы его предали! Вы омерзительны мне! Он был тверд, я уже готов был преклониться перед его твердостью и простить! Благодаря вашему предательству и он теперь окажется предателем в глазах Каховского и прочих своих друзей.

Элиз. Но вы же сами, государь...

Николай (перебивает ее). Я только исполнил свой долг. А вы своего не исполнили.

Элиз. Вы растоптали нас, государь! Как мне теперь жить?

Николай. Замаливая свой грех, сударыня! Завтра же отъедете в Новоспасский монастырь. А чтоб вы не забыли о своем благом намерении, я пришлю за вами казенную тройку.

Элиз. Я покорна, государь.

Раздается женское пение. Мимо Элиз идет шествие монашеноок в черных клубках, со свечами. Последняя из процессии задерживается подле Элиз, поднимает ее, откладывает на себе клубок. Это — старуха.

Старуха. Что, не дал тебе государь грошика счастья? Он скуч па такие грошики! А ты бы у него пятак попросила — новый, орлопенький. Пятак бы он дал, пятака ему не жалко, у него их много. А нам бы и сгодился в Новоспасском-то монастыре...

Элиз. Князь! Через сто лет в березовой роще!..

Под замирающее женское пение старуха уводит ее.

Николай (расстегивает рывком ворот мундира, отирает платком лоб). Наконец-то пустота кругом! Как славно! Батюшка, Павел Петрович, так тот пустоте молился. Как на прогулку выезжал или за делом, повелевал санкт-петербуржцам в дому скрываться и ставни на запоре держать. Чтоб пусто было! И прав: пустота — лучший верноподданный. И самый надежный, ибо пустоту можно собой заполнить. И собеседник она напичке всех умников. Скажешь в пустоту: «Госу-

дарь велики!..» Пустота ответит: «Государь велик», ибо голос пустоты есть эхо. (*Смотрит на пустые стулья.*) Что приуныли вы, господа пустые стулья? Ведь это хорошо, что вы пусты. Потому что когда на стульях люди — телесные, плотные под мундирами и неизвестно, пустые ли,— тогда все неизвестно! А тут — известно! (*Хватает за спинку обеими руками стул, поднимает его, словно человека за плечи, и шипит в спинку.*) Ты, Пестель! Не случилось тебе удачи, как теперь — знаю — крови собственной жаждешь, дабы кровью своей расписаться поперек моего царствования. Не дам тебе крови, не дам! Висеть тебе па Кронверке с головой набок! (*Швыряет стул, хватает другой, поднимает его к лицу.*) Ты, Бестужев-Рюмин, осьмнадцатилетний пашенок, злодей хуже Олениского! И тебе висеть! Не дам крови, не дам! (*Швыряет стул, хватает другой.*) Ты Муравьев-Апостол? Тебе и положено быть ближе к апостолам небесным! (*Швыряет стул, хватает новый.*) Ты кто? Ты — Каходский! Полагаешь, что имя Брута в истории стоит выше кесарева? Ну что же! Быть по сему: кесарь на земле останется, а тебе — положение наивысшее, меж небом и землей! (*Швыряет стул, хватает еще один.*) А, Рылеев! Друг мой любезный! По дружбе, в слезах признался, как замышлял на меня. «Мученик правды»!.. Мученику и должно вознести над прочими. А чтоб вознесение твое не сорвалось, веревкой поддержу! (*Швыряет стул.*)

В другом конце сцены загорается одиночная свеча. Она вырывается из тьмы подполковника Горина, в полосатой арестантской одежде, в цепях по рукам и ногам.

Горин. Государь! Наш заговор был ночной, лунный. И кровь у нас была лунная — кровь мечтателей. А у пахаря иная кровь. Пахарь выходит до света, он с солнцем начинает любить и ненавидеть. И настапает утренний заговор пахарей — людей с солнечной кровью. На Петровской площади мы отстояли свою обедню. Мы не очень знали, ради какого бога, но обедня бы-

ла. Было великолепное стояние, и было благословение ядрами. И настапает благословение виселицами и благословение каторгой. Русь умеет благословлять своих сынов! Отныне к звону колоколенок прибавится звон цепей наших. Русь звонит, государь! Каждый каторжанин как церковь с собственным звоном. И в каждой такой церкви — карбонарское моление: господин Народ Мой, ты, мой господь многоликий! Напои мою кровь солнцем, обрати ночной заговор в утренний, пройди незаживающей бороздой по сердцу моему! Братья! Воспоеем и восплачим, возлюбим и возненавидим! Выйдем вдвоем — живых призываю!..

И, словно на призыв Горина, возникает четвертый скомороший ход. Из будущего. В центре — скоморох, который в оттопыренных пальчиках держит белую царскую фуражку.

ЧЕТВЕРТЫЙ СКОМОРОШИЙ ХОД

Скоморох.

А вот представление
Всем на удивление
Про царское убийство!..
А я — царь!

Все.

А который?

Скоморох.

А Николка Второй!

Все.

А что с тобой, Николка, содеяли?

Скоморох.

А спознался, ребятушки,
Я со злодеями!
Взяли меня, Николушку бедного,
Да за плечики царские,

Да под рученьки белые.
Мне бы справа Юденича
Да слева Деникина,
А кругом —
Одни мужики дикие.
Глазами ворочают,
Сабельки точут,
Распотешить хочут,
Штыками щекочут:
— Ни бог нам не нужен,
Ни поп убеленный,
А нужен нам только
Царь убиенный!..
Я — «ох»,
Я — «ах»,
А они —
«Трах-тара-рах!»...
Был полковничек,
Стал покойничек!

В с е.
Ха-ха-ха!
А где твои детушки?
С ком о р о х.
А и детушек петушки!

В с е.
Ха-ха-ха!
А где же царица?
С ком о р о х.
А взяли царицу
За царские цыцы,
И пету боле
В Рассее цариц.
Будя! Цыц!

В с е.
Ладушки, ладушки,
Ладушки, ладушки

Лобное место —
Царева усладушка.

Исчезают.

Николай (захмелев от злобы, пинает ногой целый ряд стульев, те валятся). Вы, судари мои, пророки доморощенные! К будущему взвываете? Тоже хотели бы собственно кровно начертать имена ваши в истории отечества? Не дам крови, не дам! Из казематных параш чернила для сего случая станете черпать! В Акатуй, в Читу, в Нерчинск! Прогуляю вас на государевых тройках с бубенцами. Да чтоб веселей ехать было, на ухабах железами будете подзванивать. Слышино станет по деревням: летят государевы тройки, в империи все спокойно, господа!

Гаснет горинская свеча. Гаснут свечи на допросном столе и вокруг Николая. И тут же заново вспыхивают. На месте Горина — Николай Васильевич Гоголь с исписанной стопкой листков в одной руке и пером в другой. На месте Николая — Жандарм с кипой подорожных в руках.

Гоголь. Эх, тройка! птица тройка, кто тебя выдумал? знать, у бойкого народа ты могла только родиться, в той земле, что не любит шутить, а ровнем-гладнем разметнулась на полсвета, да и ступай считать версты, пока не зарябит тебе в очи... Жандарм. Тройку государственному преступнику Горину!.. (Отлистывает подорожную, улетающий звон бубенцов.)

Гоголь. ...Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и все летит: летят версты, летят навстречу купцы на облучках своих кибиток, летит с обеих сторон лес с темными строями елей и сосен...

Жандарм. Тройку государственному преступнику Оленскому!.. (Отлистывает подорожную.)

Вспышка бубенцов.

Гоголь. ...летит вся дорога невесть куда в пропадающую даль, и что-то страшное заключено в сем быстром мельканье, где не успевает означиться пропадающий предмет...

Жандарм. Тройку государственному преступнику Пущину!..

Подорожная, бубенцы.

Гоголь. ...И не хитрый, кажись, дорожный снаряд, не железным схватен винтом, а наскоро живьем с одним топором да долотом спаядил и собрал тебя ярославский расторопный музик...

Жандарм. Тройку государственному преступнику Юшневскому! Гоголь. ...Не в немецких ботфортах ямщики: борода да рукавицы,

и сидит черт знает на чем; а привстал, да замахнулся, да затянул песню — кони вихрем, спицы в колесах смешались в один гладкий круг, только прогнула дорога, да вскрикнул в испуге остановившийся пешеход...

Жандарм. Тройку государственному преступнику Кюхельбекеру!

Гоголь. ...и вот она понеслась, понеслась, понеслась!.. Не так ли и ты, Русь, что бойкая необогимая тройка несешься? Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади...

Жандарм. Тройку государственному преступнику Якушкину!..

Гоголь. ...Остановился пораженный божьим чудом созерцатель: не молния ли это, сброшенная с неба?..

Жандарм. Тройку государственному преступнику Одоевскому!

Гоголь. ...что значит это наводящее ужас движение? и что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях?..

Жандарм. Тройку государственному преступнику Завалишину!

Гоголь. Эх, кони, кони, что за кони! Вихри ли сидят в ваших гривах? Чуткое ли ухо горит во всякой вашей жилке? Заслышали с вышины знакомую песню, дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху... Русь, куда ж несешься ты? дай ответ...

Жандарм. Тройку государственному преступнику Трубецкому!.. Тройку государственному преступнику Бестужеву!.. Тройку государственному преступнику Фонвизину!.. Тройку государственному преступнику Вадковскому!.. Тройку государственному преступнику...

Впивается в уши нарастающий звон бубенцов.

Запись

1964 г.